

ПОЛИНА ДАШКОВА

Чувство реальности

ТОМ 1



«Астрель»



Полина Дашкова

Чувство реальности. Том 1

«АСТ»

2002

Дашкова П. В.

Чувство реальности. Том 1 / П. В. Дашкова — «АСТ», 2002

В Москве совершено двойное убийство. Убитые – гражданин США и молодая красивая женщина. Ведется следствие. Вероятность того, что это заказное убийство, – очевидна. Но каковы мотивы?..

© Дашкова П. В., 2002

© АСТ, 2002

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	5
ГЛАВА ВТОРАЯ	10
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	15
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	22
ГЛАВА ПЯТАЯ	27
ГЛАВА ШЕСТАЯ	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Полина Дашкова

Чувство реальности

Том 1

ГЛАВА ПЕРВАЯ

– Посиди здесь и подумай о своем поведении.

Дверь закрылась, снаружи повернулся ключ. Маша Григорьева осталась одна в просторной комнате, где не было ничего, кроме фанерных щитов наглядной агитации, прислоненных к стене, пыльных рулонов бумаги, сваленных в угол, голой ослепительной лампочки под потолком, сизого ночного окна с ключьями ваты между рамами и чугунной батареи.

– Вот и отлично! – прошептала Маша, обращаясь к запертой двери, за которой слышны были тяжелые шаги и скрип половиц. – Я простужусь, у меня будет воспаление легких, и тебе, Франкенштейн, придется отвечать.

Шаги затихли. Маша потрогала облупленное ребро батареи. Оно оказалось чуть теплым.

Пять минут назад Франкенштейн выдернула ее из-под одеяла, отняла фонарик, книжку и даже не дала надеть тапочки, потащила за руку вон из спальни по пустому полутемному коридору, потом по лестнице, на третий этаж. Маша ужасно удивилась. Такие воспитательные меры были для нее экзотикой. Она решила не возражать и не задавать вопросов, ей стало интересно, куда ее тащат и что произойдет дальше.

За три дня, проведенные в санаторно-лесной школе, она узнала несколько непреложных правил. Самый важный человек в этом заведении – воспитательница старших классов Раиса Федоровна Штейн, по прозвищу Франкенштейн. Есть вещи, которые ее бесят: декоративная косметика, жвачка и чтение после отбоя под одеялом при свете фонарика.

Вчера утром, обыскивая тумбочки в спальне девочек, Франкенштейн обнаружила у Маши помаду, правда гигиеническую, но она не вникала в детали. В специальной тетрадке против фамилии «Григорьева» появилась жирная красная точка. После обеда соседка по столу угостила Машу мятной жвачкой. Франкенштейн шла навстречу как раз в тот момент, когда Маша запихивала в рот белую гибкую пластинку. Тут же появилась вторая точка, жирнее первой.

– Ну все, Григорьева, – предупредила соседка, – еще одно замечание, и ты труп.

– Она что, правда детей жрет? – небрежно уточнила Маша.

– Не всех. Только девочек старших классов, и то после третьего замечания.

В десять вечера Франкенштейн погасила свет в палате. В десять сорок зашла проверить, все ли спят. Маша дождалась одиннадцати, зажгла под одеялом свой фонарик, чтобы почитать. Она читала Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» и так увлеклась, что не услышала тяжелых шагов.

Вот, оказывается, как обращаются с детьми в этом оздоровительном заведении, если, конечно, можно назвать ребенком совершенно самостоятельную девочку тринадцати лет, умницу, отличницу, которая свободно говорит по-английски, читает в подлиннике Уайльда, Моэма и Голсуорси. Никто никогда не хватал ее за руку и не волок, как нагадившую собачонку. Никто никогда не запирали ее ночью в холодной комнате, босую, в ночной рубашке.

Неделю назад мама и отчим Маши Григорьевой попали в аварию, вроде бы не слишком серьезную, тем не менее оба лежали в больнице, к ним не пускали из-за карантина. Бабушка Зина решила быстренько сбегать Машу в эту паршивую лесную школу.

С первого же дня Маша стала обдумывать план побега. Ей хотелось увидеть маму. Она не знала, где именно мама лежит, но надеялась выяснить это, обзвонив из дома по телефонному справочнику все московские больницы.

Она понимала, что отсюда, из деревни Язвищи, добраться до Москвы без посторонней помощи довольно сложно. Не в том дело, что далеко (двадцать минут на автобусе, тридцать минут на электричке). Просто у Маши не было денег. Ни копейки. В лесной школе не разрешалось детям иметь наличные деньги, и верхнюю одежду держали в запертом помещении, выдавали только на время прогулок. А на прогулке всегда рядом Франкенштейн. Попробуй сбеги. Это закрытое заведение, черт бы его подрал, детское оздоровительное учреждение санаторного типа. Бабушка Зина страшно гордилась, что устроила сюда Машу, совершенно здорового подростка, по большому благу. И если Маша сбежит, бабушка ей этого никогда не простит.

Холод начал потихоньку поедать босые ноги. Такому лютому холоду хватит часа, чтобы сожрать человека целиком и обглодать косточки. Когда откроют дверь, вместо Маши Григорьевой найдут сосульку, прозрачную и неподвижную. Вот тогда они все забегают, засуетятся, им станет не просто стыдно, а мучительно стыдно. Они с позором уволят Франкенштейн, лишат ее диплома педагога и разжалуют в уборщицы. Всю оставшуюся жизнь Раисе Федоровне придется ронять слезы в ведро с грязной водой, повторяя: «Григорьева, прости меня!» Ответом ей будет мертвая тишина.

Маша тяжело вздохнула, обошла комнату, подергала дверь, припала к замочной скважине и поняла, что ключ торчит снаружи. В коридоре было тихо. Школа спала. Франкенштейн, вероятно, полетела на метле на шабаш нечистой силы и теперь водит хороводы вокруг костра со своими подружками ведьмами. Над костром висит огромный кипящий котел, в нем варится ароматный супчик из злостных нарушителей дисциплины. По сравнению с теми, чьи расчлененные тела кипят в этом котле, Маша Григорьева устроилась вполне сносно.

Она развернула один из пыльных плакатов, постелила на занозистый рыжий пол у батареи. На плакате толстощекий мальчик увлеченно поедает бутерброд с колбасой. Красная крупная надпись под мальчиком гласила: «Школьные завтраки – дело серьезное, вам поскорее помогут они вырасти умными, сильными, взрослыми, так как полезны и очень вкусны!»

Старая бумага противно шуршала, обдавая пылью. Сквозь оконные щели сильно дуло. Маша обнаружила, что оба шпингалета, верхний и нижний, сломаны, закрыть окно плотнее невозможно. Она уселась на корточки на плакат, обхватив руками плечи и прижавшись спиной к батарее. Жестко, неудобно, но все-таки немного теплей.

Лесная школа занимала старинное трехэтажное здание, до восемнадцатого года бывшее усадьбой купцов Дементьевых, владельцев деревни Язвищи. Купцы строили себе дом два века назад добротно и красиво, в стиле раннего классицизма. Дом стоял на холме, окруженный яблоневым садом. Дальше простирались поля, отороченные у горизонта тонким черным кружевом леса. В тишине ясно слышался гудок электрички. Сыпал снег, крупный, липкий, первый снег 1985 года.

Постепенно снегопад превратился в настоящую выюгу. Ветер выл все громче. Под его порывами хлипкая оконная рама трещала, тихо и грустно позванивало стекло. Маша взглянула на маленькие наручные часы, папин подарок. Она никогда не расставалась с ними, не снимала даже в ванной. Они были водонепроницаемые.

Десять минут первого. Сейчас должна прийти Франкенштейн. Она же не может оставить здесь ребенка до утра. Это все-таки санаторий, а не колония для малолетних преступников.

Глаза слипались. Съежившись у батареи, Маша натянула рубашку на колени, почти согрелась и даже задремала. Сквозь тонкую зябкую дрему она думала о том, что ее родной отец ни за что не сел бы за руль пьяным, как это сделал отчим, который разбил уже третью по счету машину. Он привык, что ему все дозволено. Стоит ему высунуть свою популярную физиономию из окошка, и гаишники, вместо того чтобы штрафовать, отдают честь. Ни у кого в Маши-

ном классе нет дома видеомагнитофона, никто не отоваривается в «Березке» на Большой Грузинской. Маша только и слышит: «Вчера видели твоего папу по телевизору... В последнем „Огоньке“ твой папа на обложке». Она уже устала повторять, что никакой он не папа, а отчим.

Ее родного отца зовут Григорьев Андрей Евгеньевич. Они с мамой развелись, папа сейчас где-то за границей, по работе, но это ничего не значит. Маша никогда не станет дочерью нового маминого мужа, народного артиста, лауреата всяческих премий, и отчество свое ни за что не изменит, и фамилию его знаменитую ни за что не согласится взять. Это только для телеэкрана и журнальных обложек он такой классный. А на самом деле он надутый индюк, самоуверенный болван и пьяница. То, что он рискует собственной жизнью, – его личные трудности. Но жизнью Машиной мамы он не имеет права рисковать, придурок несчастный.

То ли ветер выл слишком громко, то ли Маша правда уснула, но скрежета ключа в замочной скважине она не услышала. Дверь открылась с легким скрипом и тут же закрылась. Ключ повернулся в замке, уже изнутри. Маша проснулась оттого, что какая-то липкая холодная гадость прикоснулась к ее лицу. У рта что-то металлически звякнуло. Она распахнула глаза, хотела крикнуть, но не сумела. Рот ее был заклеен широким куском лейкопластыря. Напротив нее сидел на корточках худой ободранный мужчина неопределенного возраста. Он смотрел на Машу и улыбался. Зубы у него были редкие, кривые и какие-то рыжие, череп обрит наголо. Даже глаза у него были лысые, ни бровей, ни ресниц. Под бурой телогрейкой виднелась мятая фланелевая ковбойка в красную клеточку.

Он мог показаться сумасшедшим, если бы не внимательный спокойный взгляд, взгляд разумного существа, возможно, даже более разумного, чем Маша. Он смотрел на нее с радостным любопытством исследователя, как орнитолог на двухголового воробья.

Плотная трикотажная ночнушка была натянута на колени. Кисти рук скрещены и спрятаны в длинных рукавах. Получалось, что Маша самое себя связала и не могла двинуться. При первой же попытке высвободить руки лысый легонько уперся ножницами в ее шею и отрицательно помотал головой. Ножницы медленно поползли от шеи вдоль щеки к глазам, длинные блестящие лезвия раскрылись и тут же закрылись, выразительно щелкнув. Он продолжал улыбаться. У него воняло изо рта. Не перегаром, он не был пьяным. Он был даже слишком трезвым. От него исходил ни с чем не сравнимый смрад. Наверное, именно так воняли зомби из «Ночи живых мертвецов». Маша однажды сдуру посмотрела этот ужастик по видео, от начала до конца, и сколько потом ни убеждала себя, что это всего лишь фильм, не могла спать целую неделю.

На секунду ей пришла в голову утешительная мысль, что лысый урод в ватнике ей снится. Просто в мозгах засело, как заноза, впечатление от американского ужастика. Она вообще чрезвычайно впечатлительная, и впредь с этим надо считаться, выбирая для себя фильмы и книги.

Но лысый в ватнике был слишком отчетлив для сновидения. Он вонял мертвечиной, адом, кошмаром. Ее затошнило. Она подумала, что, если сейчас вырвет, она захлебнется насмерть, потому что рот у нее заклеен. Левая рука лысого нырнула под подол рубашки. Прикосновение влажных ледяных пальцев к бедру подействовало на Машу сильнее, чем ножницы. Она успела заметить, что дверь плотно закрыта и ключ торчит изнутри. Значит, если Франкенштейн все-таки явится, какое-то время уйдет на то, чтобы взломать дверь.

– Тихо, тихо, – бормотал лысый, – все будет хорошо, тебе понравится. Я быстренько, не бойся...

Он сопел все громче, и с каждым его выдохом комната наполнялась очередной волной нестерпимой вони. Резким внезапным движением он задрал Машину рубашку, продолжая внимательно смотреть ей в глаза. Это дало ей возможность вскочить на ноги, не запутавшись в подоле и освободить руки из рукавов. От неожиданности он выронил ножницы. Липкие пальцы проворно впились в щиколотку. Маша развернулась, ухватила за подоконник и, почувство-

вав опору, оттолкнулась ногами, изо всех сил дернулась вверх, словно пыталась выбраться из вонючей болотной трясины.

От порыва ветра мелодично звякнуло оконное стекло. В ноздри ударил свежий озоновый запах снега. Это было хорошей подсказкой. Она не видела, что происходило у нее за спиной, только слышала сухой грохот старых плакатов, тихую одышливую брань и нестерпимую вонь. Через секунду она взлетела на подоконник. Окно распахнулось легко, словно кто-то снаружи услужливо потянул раму на себя.

Небо казалось светлым. Ветви низкорослых яблонь, еще днем голые и черные, к ночи покрылись толстым пушистым снегом и приветливо кивали Маше. Вьюга ластилась к ней, дышала в лицо мокрой свежестью, и оставалось только переступить с подоконника на мягкий белоснежный карниз.

– Стой, стой, куда?! – удивленно и обиженно прохрипел лысый.

Очередная волна вонии толкнула ее вперед и вниз. Если бы она успела содрать пластырь со рта, то, вероятно, закричала бы во всю глотку, падая с высоты третьего этажа. Вьюга ослепила ее, перед глазами неслась сплошная непроглядная белизна, ветер грохотал в голове. Рубашка раздулась, как парашют, и падение получилось медленным, плавным. Она не чувствовала ни холода, ни страха.

Примерно за полтора метра до земли она застряла в ветвях старой раскидистой яблони. Взрыв боли в правой кисти заставил ее опомниться. В мозгу включился и спокойно заработал какой-то новый, четкий и надежный механизм. Маша поняла, что сидит, скрючившись, на толстом яблоневом суку. Ее не изнасиловал этот лысый, только пытался. Она выпрыгнула из окна третьего этажа, но насмерть не разбилась, и уже не разобьется. Самое страшное позади. Кожа на ногах и на спине ободрана, к свежим ссадинам прилипла мокрая рубашка, рот все еще заклеен пластырем, холод лютый, но это ерунда. Главное – рука. С правой рукой случилось нечто очень плохое. Боль нарастала, от нее перехватило дыхание, и следовало переждать, когда отхлынет эта первая, оглушительная волна, здоровой левой рукой отодрать, наконец, пластырь и громко позвать на помощь.

Треск потревоженных сучьев затих. Правая рука превратилась в гигантский пульсирующий сгусток боли. Маша заставила себя медленно сосчитать до десяти, осторожно разжала заочевевшую, но невредимую левую кисть, убедилась, что сидит достаточно надежно, стряхнула с лица снег, нащупала пластырь. Он размок и отошел совсем легко. Она глубоко вдохнула, чтобы крикнуть, но от холода все внутри у нее так сжалось, что вместо крика получился сдавленный еле слышный стон.

Маша подняла голову и сквозь рябую пелену метели разглядела в ярком квадрате окна на третьем этаже силуэт лысого ублюдка. Он перевесился по пояс через подоконник. Он смотрел вниз и искал Машу. Сердце у нее дико заколотилось, ей показалось, что сейчас он увидит ее, прыгнет вниз, вслед за ней, и все продолжится. Маша не стала звать на помощь. Наоборот, она зажала рот здоровой левой рукой, чтобы не крикнуть.

Спасительный механизм опять включился в мозгу, заглушая страх, притупляя боль и все прочие невыносимые чувства. Механизм работал в ритме дикого стука сердца и отбивал только одно слово: беги!

Ей удалось почти безболезненно соскользнуть с дерева. Она ступила на снег босиком и удивилась, что ногам совсем не холодно. В последний раз взглянув вверх, она увидела пустой светящийся квадрат окна на третьем этаже.

Первые несколько шагов дались ей легко, без всяких усилий. Ей казалось, что она бежит, почти летит, не касаясь белой призрачной земли. Ей стало тепло и ужасно захотелось спать. Если можно летать во сне, то почему нельзя спать на лету? Она бы заснула, но мешал тяжелый противный топот поблизости и грубый страшный голос:

– Григорьева, совсем очумела?! Ты что тут устраиваешь, а? Так, ну-ка открой глаза, сейчас же ответь, ты слышишь меня?

Нет, наверное, она все-таки спала, летела сквозь нежную теплую метель и спала. Ей снилась Франкенштейн с башенкой на макушке. Соседка по палате говорила, что Франкенштейн запихивает в свой пучок скрученные капроновые чулки, чтобы прическа казалась объемней, и закрепляет шпильками с пластмассовыми блестящими бусинами. Эти бусины сверкали, как живые глаза в темноте. Из прически выбилась длинная тонкая прядь, ее шевелил ветер. Маше показалось, что на голове у воспитательницы сидит небольшая сумасшедшая крыса, злобно смотрит и машет хвостом. Конечно, такое могло быть только во сне.

Между тем Франкенштейн больно и грубо теребила Машу, волокла ее куда-то, мешала спать. Это было ужасно, поскольку во сне раненая рука успокаивалась, становилось тепло, уютно и совсем хорошо. Но Франкенштейн была неумолима.

– Не спи, не спи, шевелись, открой глаза, – повторяла она, трясла Машу, тревожила ее руку и добилась своего. Рука взорвалась новой, нестерпимой болью. Свет полоснул по глазам. В диком вихре закружились какие-то фигуры, загудели голоса. Маша то проваливалась в метельную мглу, то выныривала на поверхность и, хватая ртом сухой шершавый воздух, шептала:

– Мама, мамочка!

До приезда «скорой» дежурный врач вколола Маше несколько кубиков глюкозы и анальгина, зафиксировала сломанную руку, обработала многочисленные ссадины.

– Как же это могло произойти? – спросила она, старательно закручивая пробку резиновой грелки с горячей водой и избегая смотреть в глаза Раисе Федоровне Штейн.

– Очень сложная девочка. Нарушала дисциплину. Мне пришлось ее наказать, я отвела ее на третий этаж, закрыла в комнате, отошла минут на двадцать, а она, видите, что натворила? Взяла и выпрыгнула из окна. Надо сообщить родителям, пусть покажут ее психиатру, – Раиса Федоровна потрогала рыжую башню на голове, заправила длинную выбившуюся прядь, похожую на крысиный хвост, облизнула сухие губы и добавила, – я уже пыталась им дозвониться, там никто не подходит.

Врач застыла с грелкой в руках и уставилась на Франкенштейн так, словно увидела ее впервые. В лесной школе все, и врачи, и педагоги, знали, что у новенькой девочки Маши Григорьевой мать и отчим погибли в автокатастрофе. От девочки это пока скрывали. Из родственников у нее осталась бабушка с больным сердцем, и больше никого. Существовал родной отец, но где он и как с ним связаться – неизвестно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Весной 2000 года жара обрушилась на Москву внезапно, в конце апреля, и к майским праздникам город выглядел немного пьяным, провинциальным. В центре и на окраинах во дворах орала вразнобой дешевая эстрада. Обитатели панельных бараков высыпали на солнце во всем своем домашнем великолепии, в байковых тапках, в трикотажных шароварах и майках, нечесанные, опухшие, они расположились на сломанных скамейках, на бортиках песочниц или прямо на свежей майской траве. Они пили теплое, с привкусом пластика, пиво, чистили влажную серебристую воблу, хрустели чипсами, жмурились на солнце, незлобно матерились, травили анекдоты.

Публика посолидней загрузилась в автомобили и удалилась за город, возиться в огородах, перетряхивать и чистить нутро осиротевших за зиму дачных домиков.

Самые солидные, те, кто на улицах почти не появляется и украшает город благородным сиянием выхоленных иномарок, наполняет мягкой музыкой мобильных залы ресторанов, бутиков и косметических салонов, предпочли провести праздничные дни на теплых зарубежных курортах.

Утром тридцатого апреля Москва пыталась выплюнуть остатки дачников, которые не решились ехать накануне из-за вечерних пробок. Однако таких осторожных оказалось слишком много, и на основных магистралях, ведущих к кольцевой дороге, теснились огромные стада машин.

Светлана Анатольевна Лисова, одинокая полная дама сорока восьми лет, не принадлежала ни к богатым, ни к бедным, ни к средним. Она не имела ни машины, ни дачи, хотя честно трудилась с юности, и даже сейчас, в праздник, ехала не в гости, не в кино, а на работу. Из окна троллейбуса Светлана Анатольевна смотрела на легковушки на встречной полосе. Троллейбус застрял перед въездом на мост, отделявший Ленинградский проспект от Тверской-Ямской улицы. Пробка была двусторонняя, сплошная, безнадежная. Водитель открыл передние двери, и салон почти опустел. Светлана Анатольевна не собиралась выходить и нырять в метро. Ей нравилось сидеть на переднем сиденье, спиной к водительской кабине, и с высоты троллейбусного роста разглядывать легковые машины.

Московская пробка уравнивала всех. Шикарные иномарки с затемненными стеклами и озонированными салонами, «москвичи» и «жигулята» с грузовыми решетками на крышах, набитые детьми, собаками, стариками, скромным семейным барахлом – все вынуждены были стоять, ждать и нервничать. К концу праздников обещали дожди, резкое похолодание, и каждый час этого теплого ясного утра был драгоценен.

Солнце ударило в стекло, Светлана Анатольевна поморщилась, надела темные очки, отвернулась от окна, уткнулась в книжку, которая лежала поверх ее объемной хозяйственной сумки. Это был роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр», любимое ее литературное произведение, впервые прочитанное в четырнадцать лет и к нынешним сорока восьми выученное наизусть. Разными изданиями романа была занята целая полка в ее книжном шкафу. Сегодня она прихватила в дорогу новую дешевенькую книжицу в мягкой пестрой обложке. Прихватила машинально, не собираясь читать в транспорте, скорее как талисман, но из-за пробки все же раскрыла наугад и очутилась в Англии первой половины девятнадцатого века, в имении Торнфилд, в трехэтажном доме, принадлежащем сумрачному аристократу, у которого сумасшедшая жена, пошлая, вероломная, но уже покойная любовница, пышные сросшиеся брови, выражительные раздувающиеся ноздри.

На мосту между Ленинградкой и Тверской-Ямской, в гуще автомобильной пробки, никто не догадывался, что полная крупная дама на самом деле хрупкая маленькая Джен, гордая

сирота, образованная, благородная, бескорыстная, со скромным настоящим, но с роскошным будущим.

Троллейбус мягко тронулся, миновал мост и поплыл по Тверской-Ямской к центру. У Пушкинской площади Светлана Анатольевна с сожалением вынырнула из родной романтической стихии, аккуратно заложила страницу пробитым талончиком, спрятала книжку и вышла из троллейбуса.

Через пять минут она оказалась в переулке, расположенном между Тверским бульваром и Патриаршими прудами, прошла половину квартала, остановилась у семиэтажного дома, выстроенного в самом начале двадцатого века в стиле модерн.

От старого здания сохранился только фасад, отреставрированный, вылизанный, сверкающий широкими стеклами эркеров, украшенный белой лепниной по нежно-бирюзовому фону и сине-зеленой керамической мозаикой. Внутри все отстроили заново, вернее, вернули дом к его изначальному, докоммунальному состоянию, так, чтобы и духа не осталось от семидесяти лет с фанерными перегородками, тараканами, корытами на стенах, с общими закопченными кухнями и одним сортиром на десять семей.

Теперь, как в старые времена, каждая квартира занимала не менее половины этажа, парадный подъезд был выложен мрамором, увешан картинами, зеркалами. На каждой лестничной площадке, у круглых окон, стояли курительные столики, кресла и вазы с живыми цветами. Черным ходом пользовалась только домашняя прислуга.

Светлана Анатольевна называла себя «помощницей по хозяйству», не общалась ни с вахтершей, ни с говорливыми коллегами из соседних квартир и всегда входила только через парадный подъезд. Мягкие подошвы ее спортивных туфель тяжело протопали по мрамору и остановились у лифта. Вахтерша дремала в своей стеклянной будке и на приветствие не ответила. Зеркальный лифт вознес Светлану Анатольевну на седьмой этаж. Там были самые скромные квартиры, трехкомнатные, которые красиво именовались мансардами, или студиями, на западный манер.

Звякнули ключи. Распахнулась стальная, обитая темным деревом, дверь. Пустой светлый холл встретил ее гулкой тишиной. Светлана Анатольевна сняла туфли, надела тапочки, задержалась перед зеркалом, оглядела свою большую полную фигуру, одернула юбку, провела ладонью по коротким бесцветным волосам и на несколько секунд замерла, пристально глядя в глаза своему отражению и прислушиваясь, то ли к неуловимым звукам просторной квартиры, то ли к самой себе.

Из холла небольшой коридор вел в спальню. Там стояла крошечная тьма. Вишневые бархатные шторы плотно закрывали полукруглое окно. Светлана Анатольевна нащарила выключатель. Вспыхнул свет. На кровати лежали двое, женщина и мужчина, хозяйка квартиры и ее гость. Оба молодые и красивые. Оба совершенно голые.

Каштановые спутанные волосы хозяйки разметались по синему шелку наволочки. Она лежала на животе, уткнувшись лицом в подушку. Белая тонкая рука свесилась и почти касалась холеными ноготками пушистого светлого ковра. Гость лежал на спине, разметавшись. Голова его провалилась между подушками, видны были только крупный прямой нос и квадратный, подернутый модной трехдневной щетиной подбородок.

Кровавые пятна терялись в шелковых бликах темно-синего белья. Терялись и пулевые отверстия. Хозяйке стреляли в каштановый затылок, гостю в грудь, поросшую густыми черными волосами. Вообще, в спальне царил порядок, и можно было подумать, что эти двое просто спят, спокойно и крепко. Легкое одеяло соскользнуло на пол, а они не заметили.

Светлана Анатольевна тихо охнула, зажала ладонью рот, метнулась к кровати, но тут же отпрыгнула от нее и, теряя по дороге шлепанцы, тяжело топая, помчалась назад, в прихожую, чтобы оттуда позвонить куда следует.

* * *

Над Нью-Йорком с утра висел плотный теплый туман, моросил мелкий дождь. Небо-скребы почти исчезли, как бутафорская мебель за сценой, прикрытая серой марлей. На смотровой площадке, на набережной у Бруклинского моста, торговали самодельными сувенирами. Изредка проплывали сквозь туман одинокие отрешенные бегуны в наушниках. Из-за сырости никто не гулял по набережной, не интересовался сувенирами. Торговцы, пожилые хиппи, ряженные индейцы, богемные дамочки в облезлых горжетках, оставив свои лотки, сиротливо сбились в стайку, пили кофе из пластиковых стаканчиков и без всякой надежды косились на двух стариков, которые прохаживались по площадке туда-сюда почти час.

Один, невысокий, плотный, в истертых джинсах и рыхлом грязно-белом свитере, постоянно курил и покашливал. Второй, подтянутый, моложавый, отворачивался от дыма, и голос его звучал довольно громко. Ему было важно, чтобы собеседник не пропустил ни слова и правильно его понял.

– Я хочу, чтобы ты меня правильно понял, Эндрю, – повторял он через каждые несколько фраз, – мной движет не только профессиональный интерес, но и простая человеческая симпатия.

Старик, которого звали вовсе не Эндрю, а Андрей Евгеньевич Григорьев, молча кивнул и проводил взглядом гигантский воздушный шар с рекламой пепси-колы.

– Мы с тобой знакомы двадцать лет. – Американец широко улыбнулся и помахал рукой, разгоняя вредный дым. – Как говорят у вас в России, мы с тобой пуд соли съели, пуд – это около тридцати фунтов. Верно?

– Нет, Билли, – покачал головой Григорьев, – мы с тобой съели соли грамм четыреста, то есть не более фунта, за все двадцать лет. Мы почти не обедали и не ужинали вместе. Вот кофе выпили много, литров сто. Правда, это был довольно паршивый кофе, без кофеина и с ксилитом вместо сахара.

– Ты намекаешь, что я мог бы пригласить тебя в ресторан? – Билл Макмерфи расхохотался и похлопал Григорьева по плечу. – В следующий раз я учту твои пожелания, Эндрю.

– Ни на что я не намекаю, – поморщился Григорьев, – я вот уже второй час мокну здесь с тобой и жду, когда ты, наконец, объяснишь, что конкретно тебе от меня нужно. Такая сырость, что мы оба скоро покроемся плесенью.

В ответ прозвучал всплеск бодрого хохота, похожий на закадровый фон комедийного телесериала. На этот раз смеялся не Макмерфи, а компания торговцев. Один из них, упитанный мужчина с длинными волосами, стянутыми в крысиный хвост на затылке, изображал кокетливое существо противоположного пола, то ли женщину, то ли гомосексуалиста, жеманно поводил плечами, вертел жирным туловищем, вытягивал губы, взбивал двумя пальцами прядь на виске, ворковал что-то по-испански, фальшиво-высоким голосом. Остальные покатывались со смеху.

Григорьев и Макмерфи несколько секунд молча наблюдали представление.

– Слушай, Эндрю, ты ведь давно меня понял, – произнес американец, и лицо его стало серьезным, – просто ты пока не готов ответить. Но я не тороплю. Тебе, конечно, надо подумать. Ты хорошо подумай, Эндрю, причем на этот раз не о своей старой глупой заднице, а о своей дочери Маше. Пойми, наконец, речь вообще не о тебе, а о ней, о ее карьере, о ее будущем. Ей двадцать восемь лет, она взрослый самостоятельный человек, доктор психологии, офицер ЦРУ, ей надо расти и совершенствоваться, она должна реализовать в полной мере свой интеллектуальный и профессиональный потенциал.

Воздушный шар лениво подплыл к Бруклинскому мосту и остановился.

– Угодил в железную паутину, как муха, – проворчал Григорьев, кивнув в сторону шара, и затоптал очередной окурочек.

– Прости? – Макмерфи, наконец, повернулся к нему лицом, не опасаясь вдохнуть смертоносного табачного дыма.

Макмерфи был фанатиком свежего воздуха. Ему не следовало жить в Нью-Йорке и работать в русском секторе ЦРУ. Лучше бы он разводил породистых скакунов на каком-нибудь тихом ранчо в штате Техас.

– Да, я, разумеется, понял тебя, Билли, – кивнул Григорьев, – мне не надо двадцати минут на размышление. Я отвечаю сразу: нет.

– И ничего не хочешь добавить к этому? – уточнил Макмерфи.

Григорьев молча помотал головой, достал очередную сигарету и принялся разминать ее. Эта привычка осталась у него с юности, когда он курил «Яву», сушенную на батарее.

– Ну, в таком случае нам придется обойтись без твоего согласия, – грустно улыбнулся американец.

Андрей Евгеньевич вытряхнул почти весь табак, бросил сигарету под ноги, достал другую.

– Не обойдетесь, – произнес он, прикуривая.

– Да, конечно, твоя поддержка очень важна для нас, – Макмерфи заговорил быстро, нервно, – но независимо от результата нашего разговора операция состоится. Мы оба это отлично понимаем. Хотя бы объясни мне, почему ты против? Чего ты боишься? Это ведь не просто тупое упрямство, верно?

– Я не хочу, чтобы моя Машка, – старик тяжело, хрипло закашлялся, покраснел, на лбу вздулись лиловые толстые жилы, – я не хочу, чтобы мисс Григ летела в Россию и занималась там черт знает чем. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы она осталась здесь. Заставить ее вы не можете. У меня случится очередной инфаркт, и она никуда не полетит. Вам придется послать кого-то другого. Кстати, ты так и не ответил, почему вам нужна именно моя дочь?

– А почему у тебя должен случиться очередной инфаркт? – весело поинтересовался Макмерфи и тут же добавил с серьезной миной: – Впрочем, с человеком, который так много курит, может случиться что угодно.

Григорьев засмеялся. Смех у него был мягкий, приятный.

– Билли, если ты меня убьешь, тебя потом замучит совесть.

– А? Это ничего. Главное, чтобы не подагра. – Макмерфи сдержанно улыбнулся. – Эндрю, я тебя прошу, перестань, у нас серьезный разговор.

– Конечно, серьезней некуда. Если ты меня все-таки убережешь, несмотря на совесть и подагру, Машка тем более никуда не уедет, ты же ее знаешь, – он похлопал американца по плечу, – смотри, пепси исчезла, улетела. Или лопнула. Жаль, я не успел заметить, что случилось с воздушным шаром. Кстати, все эти растворители кишок, которые вы потребляете тоннами, все эти ваши пепси и коки не менее вредны, чем мои сигареты.

– Ладно, Эндрю, кончай валять дурака. Ты врешь не только мне, но и себе самому. Тобой движет не забота о дочери, а обыкновенный старческий эгоизм. Ты хочешь, чтобы она всегда была при тебе. На одной чаше весов ее карьерный рост, ее деньги, ее профессиональная состоятельность, а что на другой? Твоя блажь? Беспредметные страхи?

– А при чем здесь карьерный рост и профессиональная состоятельность? Мисс Григ сотрудница медиа-концерна «Парадиз», доктор психологии, специалист по связям с общественностью. С какой стати она должна лететь в Москву? У нее и здесь все отлично.

– Нет ничего постоянного, Эндрю, – вздохнул Макмерфи, – сегодня отлично, а завтра? Ты ведь понимаешь, насколько руководство концерна заинтересовано в ее командировке. Если она откажется, ее могут уволить. А виноват будешь ты, Эндрю. Впрочем, она не откажется.

И инфаркта у тебя не будет. Я хотел как лучше. Мне казалось, ты мог бы помочь ей, нам, концерну. Твой опыт, твое чутье и знание российского криминалитета...

– Билл, почему именно Машка? У вас же полно людей, почему она? – пробормотал Григорьев по-русски.

– Все, Эндрю, ты достал меня, мать твою! – рявкнул Макмерфи, тоже по-русски, и почти без акцента. – Потому что Машка умница, классный специалист, ее оценкам можно доверять, ее реакции адекватны, и никого лучше мы не нашли!

– В чем конечная цель операции?

– Я сто раз тебе объяснял! У нас есть основания подозревать, что глава демократической партии «Свобода выбора», лидер самой влиятельной думской фракции в России Евгений Рязанцев связан с криминалом настолько тесно, что деньги, которые в него вкладывают наши структуры, уходят к русским бандитам.

– Я тебе и так скажу, без всяких операций, что Женька Рязанцев связан с бандитами, и через него ваши деньги уплывают в воровской общак, – Григорьев оскалил голубоватые фарфоровые зубы. – Впрочем, не стоит называть их бандитами. Вполне солидные люди. Они не воруют, а контролируют финансовые потоки. И между прочим, от них эти потоки направляются назад, к вам, в ваши банки.

– Что значит – к вам? – проглотив нервный смешок, перебил его Макмерфи. – Разве ты, Эндрю, не гражданин Америки? И потом, у нас коммерческие банки, деньги принадлежат вкладчикам...

– Дай мне договорить, Билл, – поморщился Григорьев, – я не собираюсь с тобой спорить, ты знаешь, я вообще терпеть не могу спорить и толочь воду в ступе. Вы хотите влиять на политику и экономику России? У вас там свои интересы? Извольте платить, причем не тому, кто вам нравится, не демократическим сямкам, которые покрутились в Гарварде, умеют улыбаться и говорить по-английски, а людям более серьезным и менее обаятельным. Так было и так будет. И чтобы в этом убедиться, не надо внедрять к Рязанцеву мою Машку в качестве представителя медиа-концерна «Парадиз», консультанта по пиару. Тем более там уже работает такой представитель-консультант, зовут его Томас Бриттен, он отличный специалист, сидит в пресс-центре Рязанцева уже второй год и поставляет вполне добротную, надежную информацию, да и не один он там, есть еще несколько надежных легендированных агентов... – Григорьев осекся, наткнувшись на странный, застывший взгляд Макмерфи. Американец глядел как бы сквозь него и явно пытался что-то важное для себя решить прямо сейчас, сию минуту.

– Ты стареешь, Эндрю, – заговорил он медленно, по-русски, – мы с тобой ровесники, но в отличие от меня, ты стареешь слишком стремительно, как будто нарочно самого себя гроишь, загоняешь в старость. Тебе настолько все безразлично, что ты забываешь смотреть утренние новости. Сегодня, в полдень по московскому времени и в три часа ночи по нью-йоркскому, Томас Бриттен был обнаружен мертвым в чужой квартире, в центре Москвы. Это передало Би-би-си. Пока только это. Но мы, разумеется, знаем больше. По нашим сведениям, он был убит в квартире руководителя пресс-центра думской фракции «Свобода выбора» Виктории Кравцовой. Их обоих застрелили в постели. Утром трупы обнаружила домработница. Мисс Григ должна лететь завтра, уже все готово. Но ей не по себе оттого, что ты против. Она уже пакует чемоданы и жутко боится разговора с тобой. Два часа назад она сказала, что у ее любимого папочки случится инфаркт, если он узнает. Именно это ее волнует сейчас. А она должна быть спокойна. Спокойна и уверена. Понимаешь, ты, старый осел? Я обещал ей, что подготовлю тебя. Слушай, ты можешь не пускать мне дым прямо в лицо?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

При первоначальном осмотре места преступления никаких следов взлома и ограбления, никакого беспорядка обнаружено не было. Убийца имел ключ от квартиры либо действовал хорошей отмычкой. Орудия убийства не нашли. Судмедэксперт сказал, что мужчина умер примерно на час раньше женщины. Произошло это между шестью и семью утра.

– А мокренькое какое интересное, ну вообще, блин, – старший лейтенант Остапчук прищипнул и покачал головой, – мужик американец, а женщина, кажется, еще круче. Слышь, Сань, я все думаю: откуда у людей такие бабки? Вот кто она, эта Кравцова Виктория Павловна семидесятого года рождения? Кто она такая, чтобы так классно жить, а? Может, путана? – Он выложил на стол перед майором Арсеньевым документы убитых и тут же запел чистым тенором старый шлягер про путану и афганца.

Из спальни выносили трупы. Домработница Светлана Анатольевна Лисова внезапно поднялась и вышла. До этой минуты она сидела молча и смотрела в одну точку. Она с самого начала предупредила, что пока не может отвечать ни на какие вопросы. У нее шок.

– Одну минуточку, пожалуйста! – крикнула она санитарам и на цыпочках, крадучись, словно опасаясь разбудить мертвых, приблизилась к носилкам. Санитары остановились. Лисова подняла угол простыни, закрывавшей лицо покойной, и несколько секунд смотрела, прощалась. Затем аккуратно накрыла, расправила складки и с легким вздохом обратилась к санитарам:

– Все, спасибо.

– Светлана Анатольевна, – окликнул ее Арсеньев, – может, вы посмотрите еще раз, насчет украшений.

– Я уже сказала вам, все, что было, осталось на ней! – звенящим голосом прокричала Лисова.

– Серьги из белого металла с голубыми и белыми камнями, цепочка из светло-желтого металла, образец эмалевый, часы из белого металла, – забормотал себе под нос Арсеньев, перечитывая протокол осмотра трупа.

Металл был белым золотом, камни – сапфиры и бриллианты, часы фирмы «Картье», тоже из белого золота, украшенные бриллиантами. Все это сверкало и вопило о своей немыслимой цене, и ни на что убийца не позарился.

– Светлана Анатольевна, ваша хозяйка не снимала свои украшения на ночь? – спросил Арсеньев чуть громче.

Она не ответила, затопала по коридору, печатая шаг, как на параде. Но вдруг остановилась, круто развернулась у зеркала, достала из кармана салфетку, подышала на угол зеркала, протерла, еще через пару шагов остановилась, поправила рамку картины на стене. От хлопка входной двери вздрогнула и несколько секунд стояла, как каменная. Наконец, спохватившись, кинулась суетливо стирать невидимую пыль с этажерки, все той же бумажной салфеткой.

– Пожалуйста, не надо ничего трогать, – чуть повысив голос, напомнил ей майор.

– Да, конечно, – ответила она, не оборачиваясь, скрылась в ванной и включила воду.

– От, тетка, представляешь, че делает, а? Вообще, хоть бы поплакала, блин. Шок у нее. Ни фига, врет она. Нет никакого шока. Вон, какая деловая, – ехидно заметил Остапчук.

– Почему обязательно врет? – пожал плечами майор. – Шок у всех проявляется по-разному.

– Знаешь, Сань, я тут вспомнил, как ограбили квартиру этой, как ее, ну, певицы, – Остапчук сморщил свой толстый, мягкий нос и быстро защелкал пальцами. – Сань, подскажи, как ее, блин? – Он глубоко задумался на минуту и вдруг опять запел:

– Мальчик мой нежный, принц синеглазый,
Ты не люби ее, дуру-заразу!

– О чем ты вспомнил, Гена? – не поднимая головы от протокола, спросил Арсеньев.

– Фамилия из головы вылетела, ну очень известная певица. А вспомнил я, Сань, потому, что там вот тоже домработница, или нянька, все ходила, совсем стала своя, а потом квартиру грабнули, и оказалось – ее сынок с приятелем, – Остапчук поджал губы, подмигнул обоими глазами и кивнул в сторону двери, – тут вроде следов ограбления нет, но надо еще все хорошо посмотреть. На украшения, которые были на ней, убийца не позарился, а из ящиков там, из тайников, мог все выгрести. Представляешь, Сань, какие в такой квартирке грины, брюлики, а, Сань? Вот и где они? Нету! – Он огляделся и развел руками: – У американца наверняка был полный бумажник, что ж он, без денег, что ли, жил? А теперь, гляди, полторы тысячи рублей, и ни одного грина.

– Карточки у него, Гена, – объяснил Арсеньев, – а настоящего обыска в квартире еще не производили. У домработницы детей нет. Ты же видел ее паспорт.

– Ну и что? А племянник? А любовник? Во, я все понял! Старая одинокая тетка завела себе молодого хахалю, ей же надо его кормить-одевать, она здесь убирает, чистит, себя не щадит, а деньги прямо под руками, вот они, бери не хочу! Ладно, Саня, не смотри на меня так. Шутка!

– Вы что, с ума сошли?! – послышался из спальни возмущенный крик трассолога. – Сейчас же прекратите, ведь сказано ясно: ничего не трогать!

– Надо смыть кровь, – громко, но вполне спокойно ответила Лисова. – Смотрите, вот здесь, на тумбочке.

– О! Улики затирает, – Остапчук радостно захихикал, – это ж надо, прямо при нас, не стесняется, танк, а не женщина, скажи, Сань?

– Прекрати ржать, – поморщился Арсеньев, – двух человек убили.

– Ой-ой-ой, какие мы правильные, – проворчал старший лейтенант, – слышь, Сань, ты не вспомнил, как зовут певицу?

Майор ничего не ответил. В гостиную вернулась домработница. Запахло каким-то моющим средством. В руках у нее был пластиковый синий тазик, в котором хлопала мыльная вода. Она недовольно огляделась.

– Господи, какая грязь... невозможно.

– Светлана Анатольевна, сядьте, пожалуйста, – майор взял у нее тазик, поставил на пол, – я должен задать вам еще несколько вопросов.

– Я не знаю, – она помотала головой и нахмурилась, – не понимаю. Чего вы от меня хотите? Я вошла в квартиру, увидела их на кровати и сразу позвонила в милицию. Мне добавить совершенно нечего.

– Как вам кажется, что-нибудь из вещей пропало?

– Чтобы ответить, мне надо посмотреть. А как я могу, если вы не позволяете ни к чему прикасаться?

– Хозяйка держала в доме крупные суммы денег?

Широкое мягкое лицо Лисовой моментально вспыхнуло.

– Не знаю! – прошипела она и энергично помотала головой.

– А кто знает? – вкрадчиво встрял Остапчук.

– Во всяком случае, не я! У меня нет привычки копаться в чужих вещах, и чужими деньгами я не интересуюсь.

– Погодите, но вы же убираете в квартире, – напомнил Арсеньев, – вам приходится раскладывать вещи по местам.

– Да, я стираю белье, развешиваю одежду в гардеробной комнате, чищу обувь. Но я никогда не заглядываю в ящики комода и письменного стола. Я понятия не имею, что там может лежать.

– Ну хорошо, а родственники какие-нибудь есть у нее? Родители, сестра, брат?

– Родители, вероятно, есть. Во всяком случае, мать. Где-то в глубокой провинции. Но я здесь вам ничем помочь не могу. Никогда ее не видела и даже не слышала, чтобы они говорили по телефону.

– А что вы так нервничаете? – недоуменно пожал плечами Остапчук.

– Довольно сложно сохранять спокойствие в подобной ситуации, – Лисова саркастически усмехнулась, – вы, молодые люди, привыкли к смерти, к трупам, а я, извините, нет.

– Ну ладно, – вздохнул Арсеньев, – чем занималась ваша хозяйка Кравцова Виктория Павловна?

– Вы же смотрели документы.

– Хотелось бы услышать от вас, более подробно.

– Я не знаю.

– Не знаете, где работала ваша хозяйка?

– Понятия не имею, – в голосе Лисовой послышался легкий вызов, – в наше время это вообще не важно.

– Простите, не понял, – Арсеньев улыбнулся, – что именно не важно?

– В наше время, молодой человек, люди не работают. Они делают деньги. Во всяком случае, люди того круга, к которому принадлежала покойная.

– А к какому кругу она принадлежала, интересно? – опять встрял Остапчук. – Что-то я не понимаю, гражданка Лисова. Ничего-то вы не знаете, ни о чем понятия не имеете, – он зашел сзади и оперся руками на спинку ее стула, – получается, что отвечать на наши вопросы вы не желаете. Тогда давайте оформлять все, как положено, в письменной форме, на имя прокурора, с подробным объяснением причин, по которым вы отказываетесь давать свидетельские показания.

– Я не отказываюсь давать показания. Я просто не могу разговаривать в таком тоне, – холодно отчеканила Лисова.

– Нормальный тон, гражданка, нормальный, – возразил Остапчук.

– Пожалуйста, Светлана Анатольевна, ответьте на вопрос. Где работала ваша хозяйка? – Арсеньев грозно взглянул на старшего лейтенанта через ее голову и выразительно двинул бровями. Остапчук в ответ скорчил уморительную рожу и поднял руки, мол, разбирайся сам с этой теткой.

Светлана Анатольевна между тем встала, направилась в угол гостиной, долго рылась в своей вместительной сумке, наконец достала бутылочку валокардина, накапала в рюмку, выпила залпом, промокнула губы все той же салфеткой, уже серой от пыли, аккуратно сложила ее, спрятала в карман, после чего вернулась на место и, глядя мимо Арсеньева, быстро невнятно произнесла:

– Кажется, она занималась рекламой. Вообще, меня все это не касается. Я не имею привычки совать нос в чужие дела.

«Так ведет себя человек, который боится сболтнуть лишнее, – машинально отметил майор, – нет, неверно. Так ведет себя человек, который вообще боится. Всего на свете. Но не хочет этого показывать. А кому на ее месте не было бы страшно?»

– Значит, вы пришли в одиннадцать сорок? – уточнил Арсеньев, глядя в выпуклые светло-карие глаза домработницы. – Вы ожидали застать Викторию Павловну дома?

– Я пришла убрать в квартире. Я прихожу три раза в неделю, к двенадцати, и работаю до шести. У меня есть ключ. Остальное меня не касается.

– Ваша хозяйка не собиралась уезжать из Москвы на праздники?

– Не знаю.

– Погодите, Светлана Анатольевна, но вы ведь как-то общались, разговаривали? Она вам платила, предупреждала, что должна уехать, что придут гости, ну и так далее, – Арсеньев слегка напрягся, пока не понимая почему. Вряд ли ему передалась шутовская подозрительность Гены Остапчука. Старший лейтенант вообще всегда всех подозревал, даже в случаях естественной смерти со значением кивал в сторону близких покойного, а потом долго вычислял, какие у этих близких могли быть мотивы и выгоды, что им достанется из имущества.

– Одним из условий было молчание, – Лисова надменно вскинула подбородок. – Когда я начала здесь работать...

– А когда вы начали? – быстро перебил Арсеньев.

– Год назад.

– По рекомендации знакомых? Или через агентство?

– По просьбе моего близкого друга. Я много лет веду в его доме хозяйство, и он попросил помочь одинокой женщине, с которой связан по работе.

– По работе? Значит, вы все-таки знаете, где работала ваша хозяйка? – тихо спросил Арсеньев.

Лисова молча помотала головой.

– Что за близкий друг? Пожалуйста, назовите его фамилию.

– Послушайте, зачем вы меня допрашиваете? По какому праву? Все равно вам не доверят расследовать такое серьезное дело. Убит иностранец, и мне странно, почему до сих пор здесь нет сотрудников ФСБ. А вы, собственно, кто такой? Из районного отделения?

– Почему район? Мы не район! – обиделся Остапчук. – Мы из МУРа, я же вам, гражданочка, показывал удостоверение. Читать умеете? Так знакомого-то вашего как зовут, который вас сюда рекомендовал? Телефончик его потрудитесь сообщить.

Лисова вытаращила глаза, открыла рот, но больше не произнесла ни слова и вдруг стала медленно заваливаться на бок, продолжая смотреть на Арсеньева. Остапчук все еще стоял позади нее и успел подхватить. Со стула она не свалилась.

– Ну, ну, гражданочка, не надо нам здесь спектакли разыгрывать, – проворчал он и легонько похлопал ее по щекам.

Впрочем, это был не спектакль. Светлана Анатольевна действительно на несколько минут лишилась чувств.

* * *

Дождь кончился, но туман все не рассеивался. Он стал голубоватым, как обезжиренное молоко.

– Возьми себя в руки, – бормотал Андрей Евгеньевич Григорьев, пробегая мелкой трусцой по влажному тротуару, мимо нарядных двухэтажных домов классического колониального стиля, мимо аккуратной маленькой копии готического собора с двумя тонкими ребристыми башенками и цветными витражами. На углу Сидней-стрит он чуть не налетел на разносчика пиццы, который тащил высоченную стопку белых коробок, и видны были только его ноги в форменных синих штанах с желтыми лампасами.

За чугунной оградой школы Святого Мартина резвились дети. Настоящие маленькие американцы, раскованные, сытые, счастливые. Все вокруг напоминало качественное голливудское кино, и бегущий трусцой благородный старик Эндрю Григорьефф с лицом усталого от собственных знаний профессора, немного комичный, но вполне добротный американский гражданин, чудесно вписывался в кадр.

Мяч перелетел через ограду, подпрыгнул у ног Григорьева и скакнул на мостовую. Кино продолжалось.

– Пожалуйста, сэр! – прозвучал из-за ограды детский голос.

Русоволосый румяный мальчик схватился руками за чугунные прутья, смотрел на Григорьева и улыбался. Андрей Евгеньевич шагнул на мостовую, поймал мяч. Это оказалась голова чудовища из популярного мультсериала. Не дай Бог присниться во сне такая глумливая гадина.

– Сэр, пожалуйста, верните наш мяч! – рядом с мальчиком у ограды стояла девочка, изящная, игрушечная девочка с большими карими глазами и такими гладкими блестящими волосами, что голова ее напоминала облизанный апельсиновый леденец. Минуту назад она носилась и прыгала, а волосы у нее остались в полном порядке, как у настоящей киногероини. Лишь металлическая пластинка на передних зубах нарушала голливудскую гармонию кадра.

Григорьев размахнулся, чтобы перебросить монстра через ограду, но замер в нелепой позе. Ему вдруг почудилось, что вместо мяча в руках у него бомба, и через секунду живая картинка, подернутая теплым диетическим туманом, распадется на тысячу кровавых клочьев. Сверху на него смотрел фантастический урод, отштампованный на мячике, и усмехался гигантским злобным ртом. Григорьев попытался вспомнить имя мультяшного маньяка, но не сумел.

В Японии детишки бьются в судорогах и выбрасываются из окон, насмотревшись мультиков про таких вот веселых ублюдков. Здесь, в Америке, младшие школьники таскают пистолеты у родителей и стреляют в одноклассников.

– Это не я сошел с ума от страха за Машку. Это мир сошел с ума, – пробормотал Григорьев и перекинул мяч.

– Спасибо, сэр! – румяный мальчик поймал голову монстра, прижал к груди и, прежде чем бросить леденцовой девочке, смачно поцеловал маньяка в нарисованную вампирскую пасть.

Андрей Евгеньевич побежал дальше, не оглядываясь. Ему не хватало воздуха. Обычно здоровый американский бег трусцой по этим тихим красивым улицам успокаивал его, но сейчас сердце разбухло и пульсировало у горла, как будто собиралось лопнуть.

– Возьми себя в руки! – повторял Григорьев. – Возьми себя в руки, бережно отнеси в свою гостиную, к камину, к дивану, к теплому халату, к карликовой японской яблоньке во внутреннем дворе. Как раз сегодня утром она зацвела, раскрыла нежнейшие бело-розовые бутоны. Что может быть важнее и значительнее такой красоты? Да ничего на свете!

Андрей Евгеньевич уже не бежал, а шел, очень медленно, сгорбившись, считая каждый шаг. До дома оставалось не больше пятидесяти метров. Свернув на свою улицу, он почти сразу увидел сиреневый спортивный «Форд». Машина стояла возле ворот его гаража, и ворота медленно ползли вверх.

– Мерзавка! – прошептал Григорьев. – Я тебе покажу Москву! Я тебе устрою операцию! Прощаться приехала? Сказать гудбай и поцеловать любимого папочку в лобик? Благословения попросить? Хрен тебе, Машка! Я тебя на это не благословляю! – Он сжал кулаки в бессильной ярости и сам не заметил, как распрямилась спина. Он уже не плелся, не шаркал. Он шагал пружинистым сильным шагом, и глаза его сверкали сквозь последние легкие клочья тумана.

Когда он приблизился к воротам, гневный монолог иссяк, затих, словно шипение воды на раскаленных углях. Тонкая фигурка в белых узких джинсах и свободном бледно-голубом пуловере ждала его на высоком крыльце. Туман окончательно рассеялся.

– Привет, – сказала она и шагнула вниз, ему навстречу, – привет, папа. Тебе очень идет этот свитер.

Ее волосы, такие же светлые, как у ее матери, блестели на солнце. Большие глаза, тоже материнские, меняли цвет в зависимости от погоды, освещения и цвета одежды. Сейчас она была в голубом, и глаза казались совершенно небесными, ангельскими. Она смотрела на него сверху вниз, ласково и насмешливо, как умела смотреть ее мать, и уже потянулась, чтобы чмок-

нуть его в колючую щеку, но он грубо отстранил ее и принялся молча, сосредоточенно шарить в карманах.

– У меня есть ключи, – Маша протянула ему свою связку, – если ты будешь злиться, я сейчас уеду.

– Скатертью дорожка, катись отсюда, маленькая засранка, – проворчал он и добавил по-английски: – Вы спешите, леди, у вас много дел, я вас не задерживаю.

– Папа, кончай валять дурака. – Она вошла вслед за ним в дом и все-таки чмокнула его в щеку. – Ты почему такой мокрый? Бежал?

– Отстань, – он прошагал мимо нее в гостиную, плюхнулся на свой любимый диван.

Но она и не приставала больше. Она отправилась на кухню, захлопала дверцами, зашуршала пакетами. Он сидел на диване, смотрел, как преломляется солнечный свет в каждом яблоновом цветке. Сказочная красота вызывала острое, странное раздражение.

«Машка улетит и исчезнет, – думал он, – она точно исчезнет в этой опасной, непредсказуемой стране. Никакие мои связи, заслуги, возможности не помогут. А стало быть, ничего уже не важно и не нужно. Волшебное деревце со своим бескорыстным радужным трепетом, с переливами тени и света не спасет от смертельной тоски».

– Ты завтракал? – негромко крикнула Маша из кухни.

Григорьев подпрыгнул на диване, схватил пульт, включил телевизор и до предела увеличил звук. Дом наполнился визгом, грохотом, утробным бульканьем. Шел тот самый японский мультфильм, герой которого был отштампован на детском мячике. Маша, морщась, зажав ладонями уши, влетела в гостиную, выключила телевизор и села на диван рядом с ним.

– Я знаю, почему ты злишься, – сказала она тихо, – ты мне завидуешь. Ты бы сам с удовольствием слетал на родину. Верно? Там так сейчас интересно...

Григорьев ничего не ответил. Он смотрел в погасший телеэкран. В нем отражались два смутных, искаженных силуэта. У Маши получалась огромная голова и маленькое тело. Она напоминала бело-голубого головастика. У него, наоборот, голова уменьшилась, шея вытянулась, а корпус вырос в бесформенную массу. Он стал похож на динозавра, на старого, давно вымершего тупицу, у которого капелька вялого мозга и тонны жизнерадостного мяса.

– Нет, я понимаю, не стоило впутывать в наши семейные дела чужого человека, но ты же знаешь Макмерфи. Я вообще не собиралась с ним это обсуждать. Он сам затеял разговор, спросил, знаешь ли ты уже и почему я тебе до сих пор не сказала?

– Кстати, почему?

– Потому!

– Можно конкретней?

– Боялась, – чуть повысила голос Маша, – предвидела, какая будет реакция. И, между прочим, не ошиблась.

– Спасибо, доченька, – процедил Григорьев сквозь зубы, – большое тебе спасибо, мне, конечно, было очень приятно услышать такую новость от Макмерфи, а не от тебя, да еще за сутки до твоего отлета.

– За десять часов, – мягко уточнила она.

– Как – за десять? То есть что, прямо сегодня? Практически сейчас?

– Да, папочка. Так даже лучше. Меньше разговоров, переживаний, – Маша встала, гибко потянулась и подошла к стеклянной двери, ведущей во внутренний двор. – Смотри, твое деревце зацвело, а ты говорил, яблонька должна засохнуть к весне. Слушай, ты будешь пить кофе или я одна? Я, между прочим, еще не завтракала.

– Десять часов, говоришь? Ладно, Машка, у нас действительно очень мало времени, – Григорьев зажмурился и слегка потряхнул головой, – как давно возникла идея отправить тебя туда?

– Думаю, Макмерфи начал готовить меня пару месяцев назад.

– Что значит – думаю?

– Ты же знаешь, как это происходит. Вначале ничего не говорится прямо. Идет отбор. Даются одинаковые задания разным людям, сверяются результаты. Вероятно, я справилась лучше других. Ну и потом, им нужно отправить туда очень молодого человека, лет двадцати пяти, – она шагнула к овальному зеркалу, расстегнула заколку и запустила пальцы в свои мягкие прямые волосы, – как тебе кажется, если я подстригусь под мальчика, я буду выглядеть моложе? Макмерфи просил меня подстричься. А мне жалко.

– Что за чушь? Они тебя легендируют, что ли? – Григорьев нервно усмехнулся и отшвырнул зажигалку, которая так и не зажглась.

– Ну, не совсем, – она подняла волосы вверх и прижала их ладонями ко лбу, – челка мне, конечно, не пойдет. Но если подстричься совсем коротко, чтобы лоб был открыт, получится неплохо. В России это называется «тифози». Между прочим, модно сейчас. Знаешь, сзади совсем ничего, практически голый затылок, до макушки. Шея кажется длинней. Правда, щетина вылезает быстро, и это выглядит довольно противно. Надо постоянно подбрасывать.

– Почему именно ты? – тоскливо пробормотал Григорьев.

– Потому, что я такая умная, красивая и талантливая. Потому, что четыре года назад, когда господин Рязанцев читал лекции в Гарварде, он явно выделял меня среди прочих студентов. Ему нравится такой тип людей, такой тип женщин. Мне будет несложно наладить с ним доверительные отношения. Компьютерный анализ это подтвердил, – Маша в очередной раз повернулась перед зеркалом и тряхнула волосами. – Все-таки стрижься мне или нет, как ты думаешь?

– В чем заключались проверочные задания? В каком качестве ты туда летишь? Какие доверительные отношения? Почему ты должна быть младше самой себя?

– Не младше, – улыбнулась Маша, – наивней. Я должна быть восторженной и трогательной дурочкой. Ну, не двадцати восьми, а двадцати пяти лет. Подумаешь, какие-то три года... В России вообще не принято говорить о женском возрасте. Между прочим, это правильно.

– Кончай морочить мне голову! – закричал он и тут же прикусил язык, вспомнив, что позавчера в его доме перегорели пробки и приходил веселый пожилой электрик Оскар. Это случилось всякий раз после того, как он обнаруживал и снимал «жучки». Оскар, добродушный толстяк, балагур, проверял проводку и лепил новые «жучки», выбирая для них более укромные места. Чтобы Маша не успела ответить на вопрос тупого жирного динозавра, он искусственно закашлялся. Она тут же отняла у него сигарету, загасила, сбегала на кухню и вернулась со стаканом воды.

– Знаешь что, пойдем завтракать к «Ореховой Кларе», – сказал Андрей Евгеньевич, сделав несколько глотков, – у меня только хлеб, масло, яйца и бекон. Никаких фруктов, ничего вегетарианского для тебя.

Она лишь слегка сдвинула брови. Ни удивления, ни испуга не мелькнуло в ее ангельских ясных глазах, и Григорьев мысленно поздравил себя. Не так уж туп жирный динозавр, если сумел научить своего хрупкого головастика такой железной выдержке. Она ведь была на кухне, заглядывала в буфет и в холодильник. В его доме всегда, в любое время суток, имелся специально для нее запас вегетарианской еды: орешки, фрукты, свежий йогурт. Конечно, она отлично знала, что дом ее отца прослушивается. Однако верила, что это делают свои. Так положено, для безопасности. От своих не может быть секретов. Он сам внушил ей это. Тоже для безопасности.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

– Каждый действующий политик может быть подвержен дестабилизации. И чем активнее он действует, тем больше нарабатывает факторов риска, – Евгений Николаевич Рязанцев с мягкой, снисходительной улыбкой смотрел в глазок телекамеры и пытался представить, что перед ним живые глаза, внимательные и восторженные женские глаза. Он всегда чувствовал себя отлично в женском обществе, намного уютней и уверенней, чем в мужском. И то, что к нему приехала одна из самых эффектных леди российского экрана, должно было бодрить. Но не бодрило.

Звезда тележурналистики Надежда Круглова, может, и родилась девочкой, но уже в младенчестве стала бабой, теткой, вечно голодной шучкой, готовой вцепиться зубами не только в чужой съедобный кусок, но и в несъедобную часть чужого тела.

– И часто вас подвергают дестабилизации? – ехидно спросила Круглова, изящным движением откинув белокурую прядь.

Работали две телекамеры. Рязанцева снимали жестко, широкоугольным объективом. Он знал, что на экране пропорции лица будут искажены. Нос и губы получатся огромные, глаза маленькие, лоб низкий, скошенный назад. Каждая пора, каждая родинка и морщинка вылезут особенно грубо, грубее, чем в жизни.

– Ну а как же, – Рязанцев весело рассмеялся в камеру, – конечно подвергают, и за это надо сказать спасибо. Представляете действующего политика, известного человека, без врагов, соперников и завистников?

– Много у вас завистников? – спросила она, серьезно и сочувственно глядя в свою камеру.

Круглову снимали нежно, через специальный фильтр. Ее личный оператор знал наизусть все ее выигрышные ракурсы. Ее личная гримерша стояла тут же, в полной боевой готовности, и каждые полчаса бросалась к звезде, чтобы освежить сложный макияж. Были еще и костюмерша, и администратор, и два осветителя, и какой-то просто мальчик, помощник то ли администратора, то ли костюмерши, не старше восемнадцати, очень хорошенький.

– А у вас? – спросил он, отворачиваясь от камеры и глядя на нее точно так же, серьезно, сочувственно. Она презрительно фыркнула в ответ.

Он покосился на часы. Двадцать минут первого. Вика обещала приехать к десяти, за полчаса до съемочной группы, чтобы обсудить последние детали и быть с ним рядом. Она никогда не опаздывала и всегда предупреждала, если задерживалась даже на десять минут. Без Вики ему всегда было трудно, но сейчас просто невыносимо.

Пару дней назад она заставила его просмотреть несколько видеокассет с передачами Кругловой.

«Обрати внимание, когда она греет собеседника взглядом доброй мамочки, это сигнал тревоги, она на самом деле, как кобра, раздувает свой капюшон, собирается атаковать и потом смонтирует из тебя жалкого идиота, – предупреждала Вика, – не вздумай поддаваться, тут же посылай ответный удар».

Вика тщательно готовила его к этой съемке. Для политика, даже очень известного, появление в программе Кругловой считалось эпохальным событием. У передачи был гигантский рейтинг. Зловредная желтая пресса постоянно напоминала наивным телезрителям, что передача рекламная, платная. За тридцать тысяч долларов леди Круглова вместе со своей профессиональной свитой примчится куда угодно и к кому угодно, хоть к премьер-министру, хоть к вору в законе. Однако рейтинг не падал. Цифры с нулями только подогревали интерес публики: если так дорого стоит стать героем передачи, значит, передача хорошая.

Круглова действительно знала свое дело. Она выставляла героев не то чтобы идиотами и ничтожествами, но капельку глупее, чем они есть и чем они сами о себе думают. Она их

делала смешными и немного жалкими, словно подмигивая зрителю, мол, мы-то с вами знаем, он только с виду такой важный, такой успешный и хитрый. На самом деле – вот, смотрите, у него на щеке бородавка, куча комплексов из-за лысины и лишнего веса, и жена, стерва, крутит им как хочет.

Вчера днем Вика приехала, чтобы тщательно осмотреть дом, поскольку съемочная группа полезет во все щели. Он просил ее остаться, но она сказала, что им обоим надо как следует выспаться, и уехала домой.

«Не забывай, что она журналист. А журналист всегда на стороне посредственности, и главная ее задача – принизить личность до уровня толпы. Даже такая звезда, как Круглова, вынуждена постоянно говорить о других и почти никогда о себе. Конечно, ей обидно. Какие бы деньги мы ей ни заплатили, она все равно будет тебя опускать. Чем ты лучше, тем ей хуже, и наоборот. Поэтому не пытайся ей понравиться. Веди себя так, словно ее нет и ты один, наедине с камерами, с миллионами телезрителей. А вопросы тебе задает какая-нибудь умная машина».

Глядя в длинные, черные, красиво подведенные глаза Кругловой, он вспоминал Викины наставления и думал о том, что было бы значительно легче, если бы Вика сейчас находилась рядом, в соседней комнате. И не надо никаких наставлений.

– Вообще-то речь сейчас не обо мне, а о вас, – раздраженно заметила Круглова, – не понимаю, вы что, боитесь говорить о завистниках, о соперниках?

– Надюша, – он погрозил ей пальцем, как маленькой расшалившейся девочке, – мы же условились, что будем избегать слишком серьезных политических проблем. Это скучно, и ваша передача не об этом.

– Значит, вы считаете, что плохое отношение к вам лично – это серьезная политическая проблема?

Он опять тревожно взглянул на часы. Вчера вечером он просил Вику не только остаться на ночь, но и участвовать в съемке вместе с ним. Передача Кругловой была домашняя, семейная.

– В каком же качестве? – спросила Вика. – Все знают, что у тебя есть жена и двое взрослых детей. Она живет в Италии, а дети учатся в Кембридже. Вы далеко друг от друга, но у вас крепкая, дружная семья. А я всего лишь твой пиар, существо без пола и возраста.

– Я разведусь, – пообещал он.

Вика ничего не ответила, поцеловала его, уехала и до сих пор не вернулась, даже не позвонила.

– Все мои проблемы так или иначе политические, я ведь политик и ни о чем другом серьезно не беспокоюсь, кроме общественного блага, – на этот раз он воспользовался лучшей своей улыбкой, хитрой улыбкой чеширского кота из «Алисы в Стране чудес». Она была бесценна, потому что смягчала и сводила на уровень милой самоиронии любую заумность и любую глупость.

– Кстати, почему вы стали политиком?

– Потому, что у нас в России слишком уж интересно жить. Все время что-нибудь происходит. То подземные переходы взрываются, то телебашня горит, то рубль рушится. А я хочу, чтобы стало скучно, как, допустим, в Швеции.

– То есть ваша идеология – это идеология скуки?

Он открыл рот, чтобы ответить, но тут до него донеслась тихая нежная мелодия. Несколько первых тактов из «Лав стори» Франсиса Лея. Это звонил мобильный Егорыча, начальника службы безопасности, единственный телефон, который не был выключен на время съемки. Это звонила Вика. Он услышал, как Егорыч произнес «Алло», и больше ничего. В трубке что-то говорили, а Егорыч вместе с телефоном уходил все дальше, через заднюю веранду в сад.

Глаза Кругловой вспыхнули победно и насмешливо. Она, разумеется, приняла его замешательство на свой счет, она решила, что поставила его в тупик своим гениальным вопросом.

– А вам весело, когда тонут подводные лодки с живыми людьми потому, что их заливают негодным дешевым топливом? Когда пассажирские самолеты падают на детские сады, потому что разворованы деньги, необходимые для технического обслуживания? – произнес он хрипло. – Впрочем, это риторический вопрос. Конечно, вам не просто весело. Вам это необходимо, как воздух. Вы утверждаете, что говорите правду? Публика отупела от вашей правды, от ежедневных скандалов и компроматов. Люди становятся равнодушными и жестокими, как наколотые наркоманы. Может правда стать наркотиком? Конечно, если умело ее использовать. Вы посадили их на вашу чернушную правду жизни, как на иглу, – он говорил спокойно, медленно и продолжал улыбаться.

На этот раз с открытым ртом застыла Круглова. Реакция свиты была поразительна. Он еще не закончил фразу, а уже толстенькая гримерша пудрила свою королеву, оба оператора выключили камеры и принялись менять кассеты. Воспользовавшись паузой, он кинулся в сад, обежал дом, остановился у задней веранды, растерянно глядя на аллею, залитую солнцем.

Он понимал, что сейчас повел себя глупо, метал бисер перед свиньями. Никому от его пафосных обличений ни горячо и ни холодно. При монтаже все это вылетит. Передача семейная, уютная, он не на митинге и не в прямом эфире на политическом ток-шоу. Но он страшно нервничал из-за Вики, и ему требовалось срочно выпустить пар, наорать на кого-нибудь. Просто так орать было бы унизительно и глупо, а красивая разоблачительная речь политику никогда не повредит, даже если слушателей мало и они съемочная группа.

Он огляделся, шурясь от солнца. В первый момент ему показалось, что Егорыч испарился вместе со своим мобильником и Викиным голосом в трубке. Но, привыкнув к солнцу, он заметил темную широкоплечую фигуру на скамейке, в кустах. Егорыч тоже его заметил, встал, пошел навстречу, продолжая разговаривать. То есть сам он ничего не говорил, кроме да и нет.

– Это Вика? – громким шепотом спросил Рязанцев и протянул руку, чтобы отнять телефон.

Егорыч отрицательно помотал головой и быстро, тихо произнес в трубку:

– Ну все, Петр Иванович, я понял. Я тебе позже перезвоню, минут через двадцать. Лады?

– Вика не звонила? – спросил Рязанцев, справившись с одышкой.

– Нет, – Егорыч обычно смотрел прямо в глаза, но тут почему-то уставился в подбородок.

– А ты звонил ей?

– Мобильный выключен, домашний не отвечает.

– Ну так дозвонись! Она обещала к десяти, а сейчас...

Егорыч не отрывал глаз от его подбородка.

– Ты считаешь, мне стоило побриться перед съемкой? – растерянно спросил Рязанцев.

– А? Нет, все нормально, – ответил Егорыч и перевел взгляд на крыльцо веранды. Оттуда послышался низкий красивый голос Кругловой:

– Евгений Николаевич, может быть, мы продолжим съемку в саду?

– Да, конечно, – громко ответил Рязанцев, развернулся всем корпусом, направился к крыльцу. Вслед за королевой из дома, ему навстречу, вывалила свита. Камеры были готовы, гримерша подошла к Рязанцеву, чтобы промокнуть и припудрить его вспотевший лоб. Он извинился, отстранил руку с пуховкой, неприлично быстро понесся по аллее, догнал Егорыча у ворот и, схватив его за плечи, выдохнул:

– Найди ее, дозвонись! Ты понял?

* * *

Из вегетарианского ресторана «Ореховая Клара» Андрей Евгеньевич и Маша отправились в салон красоты «Марлен Дитрих». Маша заявила, что все-таки решила стричься. Во-первых, Макмерфи настаивал на создании нового образа, во-вторых, ей самой хотелось что-нибудь этакое с собой сотворить перед отлетом. Григорьев ждал на улице, и когда она вышла, еле сдержался, чтобы не вскрикнуть. С мальчишеским ежиком она стала такой же, какой он увидел ее в мае 1986-го, в аэропорту «Кеннеди», в инвалидной коляске с загипсованной рукой и с лицом, таким белым и неподвижным, что казалось, оно тоже отлито из гипса.

– Ну как? – спросила она, поворачиваясь перед зеркальной витриной.

– Тебе самой нравится?

– Пока не знаю. Я должна привыкнуть. Между прочим, именно с такой прической я прилетела в Америку. Или было еще короче?

– Нет. Так же.

– Ну да, меня обрили наголо за полтора месяца до отлета. В больнице случилась эпидемия стригущего лишая. И первое, о чем я спросила тебя, как будет «стригущий лишай» по-английски.

– А потом выразила недовольство, что тебе не дали посмотреть красивый город Хельсинки, – проворчал Григорьев.

– Ох, папочка, до чего же ты злопамятный. Это я так шутила, чтобы не зарыдать.

– Извини. У меня в тот момент было плохо с юмором.

– Сейчас, кажется, тоже.

Из парикмахерской они отправились к Маше домой. Она жила на Манхэттене, в Гринвич-вилледж. Небольшая, но дорогая и уютная квартира-студия располагалась на последнем этаже старого семиэтажного дома. В гостиной одна стена была полностью стеклянной, и открывался потрясающий вид на Манхэттен.

– На самом деле я еще даже не начинала собираться, – сообщила Маша, когда они вошли в квартиру. – Ты не знаешь, какая там сейчас погода?

– Тепло, но обещают похолодание.

– Как ты думаешь, почему там никогда не обещают ничего хорошего? – Маша скинула туфли и забралась с ногами на диван. – Если тепло, ждут похолодания, если курс рубля стабилен, начинают говорить об инфляции и экономическом кризисе.

– Такой менталитет, – пожал плечами Григорьев.

– Да ладно, папа, никакой не менталитет. Просто за семьдесят лет советской власти люди устали от официального оптимизма, от всех этих пятилеток, физкультурных парадов, плакатных обещаний райской жизни и теперь отдыхают. Хотят побыть скептиками и пессимистами. Ладно, надо собираться, – она взглянула на часы, соскользнула с дивана и крикнула, уже из гардеробной: – Ты не знаешь, можно купить там одежду? Неохота тащить с собой целый гардероб. Тем более его придется полностью менять, с такой стрижкой у меня совсем другой стиль.

– Там можно все купить, но значительно дороже, чем здесь, – пробормотал Григорьев.

– Ничего, у меня хорошие командировочные, – хмыкнула Маша.

На компьютерном столе, поверх разбросанных бумаг и дисков, Андрей Евгеньевич заметил разложенные веером цветные картинки-фотороботы и внимательно их рассматривал.

– Маша, подойди сюда. Ты что, собираешься взять это с собой?

Она появилась из гардеробной с охапкой свитеров и блузок.

– Не знаю. Наверное. Как тебе кажется, я смогу там бегать по утрам?

– Смотря где ты будешь жить. Маша, я задал тебе вопрос. Ответь, пожалуйста.

– Да, папа, я поняла твой вопрос, – она присела на корточки у раскрытого чемодана и принялась складывать вещи, – я не могу тебе ответить.

– Что значит – не можешь? – Григорьев нервно захлопал себя по карманам в поисках сигарет.

– Не ищи. Ты выкинул пустую пачку у парикмахерской. – Маша упаковала первую порцию одежды, распрямилась и задумчиво уставилась на чемодан. – Это мое дело, папочка, – произнесла она чуть слышно, – если я очень захочу, я найду его. Правда, я пока не знаю, захочу ли, но у меня есть еще время подумать.

– Зачем? – сипло спросил Григорьев, пытаясь сохранить спокойствие. – Даже если допустить невозможное и представить, что через столько лет ты найдешь в России человека, не зная ни фамилии, ни точной даты рождения, ни места жительства, имея только вот эту карточную колоду, словесные портреты, составленные тобой по памяти, даже если ты его найдешь, что ты будешь делать дальше?

– Понятия не имею. Сначала я должна на него просто посмотреть, выяснить, как он поживает, чем занимается.

– Так, все, – Григорьев резко поднялся, – дай мне телефон. Я звоню Макмерфи. Ты никуда не летишь. Ты не можешь лететь в таком состоянии. У тебя бред, девочка моя. У тебя острый психоз. Мания, фобия, тараканы в голове, ты же доктор психологии и должна сама понимать. Тебе просто опасно туда лететь. Я не позволю.

Маша сидела на корточках перед раскрытым чемоданом, и, не поднимая головы, уже в десятый раз складывала одни и те же брюки.

– Папа, успокойся, пожалуйста. Я не собираюсь специально искать его, – произнесла она глухим, монотонным голосом, обращаясь скорее к чемодану, чем к отцу. – Мне просто интересно, что с ним стало. По моим расчетам, из него мог вырасти настоящий, классический серийный убийца. Помимо зыбкого словесного портрета, у меня есть несколько вариантов психологического портрета с разными перспективами развития его кретинской личности. Я давно отношусь к нему как научной проблеме и хочу понять, насколько мои красивые теоретические расчеты расходятся с некрасивой действительностью. Вдруг я гений психологии и вычислила будущего маньяка?

– Ты блефуешь, девочка моя, – покачал головой Григорьев, – у тебя в детстве была дурацкая привычка сдирать корочки с подживших ссадин, до сих пор все коленки в шрамах. Ну что ты молчишь? Нечего возразить?

Маша быстро взглянула на него снизу вверх и рассмеялась.

– Прекрати! – крикнул Григорьев. – Мы говорим о серьезных вещах, не вижу ничего смешного.

– Напрасно, папочка. Всегда и во всем надо видеть что-нибудь смешное. Ты сам меня учил этому. Знаешь, где находится загородный дом господина Рязанцева? В поселке Малиновка по Ленинградскому шоссе. Всего в пяти километрах от деревни Язвищи. Именно там, в Язвищах, была лесная школа, в которую меня отправила бабушка в ноябре восьмидесят пятого.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сане Арсеньеву не давали покоя эти несчастные шестьдесят минут. Почему женщину убили не сразу? Что произошло за час? От нее хотели получить какие-то сведения? Но в таком случае ее скорее всего пытали бы, ну или ударили пару раз. От побоев и пыток остаются следы. Однако их нет. Никаких видимых повреждений на теле, кроме смертельной дырки в голове.

Вряд ли у убийцы хватило терпения на спокойную получасовую беседу. Самый твердокаменный профи все равно нервничает во время работы, и когда ему приходится допрашивать свою жертву, бьет ее, даже если она готова ответить на все вопросы. Бьет, чтобы психологически разрядиться.

Впрочем, Саню Арсеньева все это уже не касалось.

Когда в квартире появилась опергруппа ФСБ, начался спектакль. Майор Птичкин, полный, совершенно лысый, но с пышными усами, похожими на воробьиные крылья, набросился на Арсеньева, заявил, что все не так, свидетельницу отпускать не следовало, трупы увезли слишком рано, и теперь нет никакой возможности работать по горячим следам, поскольку он, майор Арсеньев, позаботился о том, чтобы все эти драгоценные следы были уничтожены.

– Я получил приказ из прокуратуры вывезти трупы как можно быстрее, пока не появилась пресса, – терпеливо объяснил Арсеньев. Он был уверен, что опергруппа ФСБ не могла не знать этого.

– Нет, а я не понял, чего вам-то помешало раньше приехать? – встрял смелый Остапчук, но в ответ не удостоился даже взгляда. Майор Птичкин только презрительно пошевелил усами.

Ясно, что известие об этом убийстве вызвало нешуточную панику во всех инстанциях: в МВД, в ФСБ, в Прокуратуре. Начальство на всех уровнях нервно соображало, кого можно послать и как сделать, чтобы во внешний мир просочилось как можно меньше информации.

Убитая, Кравцова Виктория Павловна, являлась руководителем пресс-службы думской фракции «Свобода выбора», а ее гость, гражданин США Томас Бриттен, являлся сотрудником крупнейшего американского медиа-концерна «Парадиз», был прикомандирован к этой самой пресс-службе в качестве консультанта по связям с общественностью.

Поговорив по телефону, майор Птичкин мрачно сообщил, что майору Арсеньеву придется ехать вместе с ними в морг вслед за трупами. Представитель посольства туда уже направляется и требует, чтобы при опознании присутствовали не только сотрудники ФСБ, но и милиция, причем не просто какой-нибудь милиционер, а именно тот, который первым оказался на месте преступления.

Остапчука отправили домой, квартиру опечатали. Арсеньев, вяло отбиваясь от журналистов, собравшихся у дома, уселся в машину вместе с офицерами ФСБ. По дороге он заснул. Он отдежурил ночь в группе немедленного реагирования, плохо соображал, глаза закрывались сами собой.

Под музыку, лившуюся из приемника, под гул мотора и разговоры оперативников ему стал сниться какой-то бред. Генка Остапчук в шортах и гавайской рубашке отплясывал твист на пару с покойницей Викторией Кравцовой. На ней было узкое красное платье. Американец в ковбойской шляпе играл на саксофоне. Толстая домработница сидела под пальмой и обмахивалась кружевным веером.

– Эй, хорош дрыхнуть! – услышал он и обнаружил, что давно уже приехал, поднимается в лифте, а глаза все еще закрыты. – Ну ты даешь, майор, – покачал головой усатый Птичкин, – спишь на ходу, как сомнамбула. Сходи в сортир, умойся холодной водой.

Саня послушался доброго совета, и действительно стало легче. Не хватало только чашки крепкого кофе с каким-нибудь бутербродом, но об этом пока не стоило мечтать.

Американский дипломат долго, молча смотрел на своего мертвого соотечественника. Все вокруг почтительно ждали, когда закончится траурная пауза. Нестерпимо пахло формалином. Было жарко. Жирные мухи носились под потолком и гудели, как реактивные самолеты. Дипломат выглядел растерянным. На лбу блестела испарина. Он стоял к Арсеньеву боком, и было видно, как за дымчатыми очками у него дергается правое веко. Он был не старый, чуть за пятьдесят, весь какой-то широкий, квадратный, с грубым тяжелым лицом и толстыми складками кожи на шее.

Ординатор в уголке с громким звоном уронил что-то на кафельный пол. Все вздрогнули. Майор Птичкин чихнул несколько раз подряд, так крепко, что брызнули слезы.

– Боже мой, бедный Томас, – пробормотал дипломат, – у него семья, трое детей. – Он вскинул глаза, беспомощно огляделся, уперся взглядом в лицо Арсеньева и еле слышно попросил: – Пожалуйста, расскажите мне, как все произошло? Мне сказали, что вы первый приехали на место преступления.

У дипломата был отличный русский, и несколько минут назад, в коридоре, он беседовал с офицерами ФСБ почти без акцента. Но почему-то вдруг обратился к Сане по-английски с такой уверенностью, словно русский милиционер, так же как покойник, был его соотечественником.

– Что именно вас интересует? – мягко уточнил Арсеньев и тут же засек на себе косые взгляды офицеров ФСБ. Им не понравилось, что милицейский майор так спокойно перешел на английский, словно каждый день общается с американскими дипломатами.

– Извините, майор, можно мне с вами побеседовать наедине? – спросил дипломат, глухо кашлянув, и обратился к остальным, по-русски: – Вы не возражаете, господа?

Офицеры переглянулись. Птичкин пошевелил усами. Американец благодарно кивнул и вывел Арсеньева в коридор. Там было прохладней и не так сильно воняло. На подоконнике сидел и курил полный мужчина лет сорока, в белых джинсах и алом свитере, с длинными волосами, зачесанными назад и собранными в хвостик. Рядом с ним лежал, завернутый в целлофан и перевязанный кудрявой ленточкой, букет из двух крупных роз, алой и белой.

– Доброе утро, мистер Ловуд, – он тяжело спрыгнул на пол, загасил сигарету и протянул руку для рукопожатия.

Однако американец как будто не заметил его руки, мрачно кивнул и не сказал ни слова. Толстяк с хвостиком обиженно хмыкнул, отошел на пару шагов, но тут же вернулся и обратился к Арсеньеву:

– Здравствуйте, майор. Меня зовут Феликс Нечаев, я заместитель Кравцовой Виктории Павловны. Мне позвонили, вот я приехал.

– Послушайте, господин Нечаев, – дипломат вздохнул и выразительно скривил рот, – я очень спешу, мне надо поговорить с майором наедине. Будьте так любезны, оставьте нас.

В ответ Феликс широко улыбнулся, показывая ровные белые зубы, поднял руки и на цыпочках попятился назад, повторяя громким шепотом:

– Ухожу, ухожу, ухожу!

Букет остался лежать на подоконнике. Пока бело-красная фигура не исчезла за дверью, ведущей к лестнице, Ловуд молчал и лицо его сохраняло брезгливое недовольное выражение. И только когда в коридоре стало пусто, он, слегка тряхнув головой, тепло улыбнулся и протянул Арсеньеву руку:

– Меня зовут Стивен.

– Очень приятно. Александр.

Рукопожатие Стивена было крепким до боли. Кисть широченная, влажная и холодная. Он смотрел на Арсеньева как на родного.

– Саша... Можно я буду вас так называть? Том находился в постели с этой женщиной? Это совершенно точно? – прошептал он, дохнув в лицо аптечным запахом леденцов с лакрицей.

– Да.

– То есть их убили одновременно? – Ловуд откашлялся, голос его звучал сипло, было видно, что говорить ему очень тяжело.

– Ну, в общем, да, – кивнул Саня, – сначала его, потом ее.

– Если я правильно понял, каждому досталось по одному выстрелу?

– Вы поняли правильно, мистер Ловуд.

– Ужасно...

Саня заметил, что по виску дипломата ползет капля пота. Он вообще был весь мокрый, но как будто не замечал этого, не доставал платок, чтобы вытереть лицо.

– Надеюсь, вы понимаете, что подробности убийства не должны просочиться в прессу? – сказал Ловуд и опять закашлялся. – Том был моим другом, я знаком с его женой. Ее зовут Дороти. Нет, я знаю, это зависит не только от вас. Возможно, это вообще от вас не зависит, но больше мне пока побеседовать не с кем. Офицеры ФСБ – люди специфические, их если попросишь о чем-то, они непременно сделают наоборот. Извините, я, может, глупости говорю, но вы должны понять мое состояние. Это ведь шок, настоящий шок, – голос его опять стал нормальным, он говорил быстро, Саня с трудом понимал его. – В посольстве почти пусто, мы пользуемся вашими праздниками как незапланированным уикендом, тем более такая чудесная погода, и вдруг этот ужасный звонок... Я, знаете, в первый момент ушам своим не поверил, никак не мог представить Томаса мертвым. По новостям Би-би-си уже прошла информация, но там никаких подробностей. Скажите, а эта женщина, она действительно была любовницей господина Рязанцева?

«Эй, милый, я не собираюсь играть в эти игры!» – тревожно заметил про себя Арсеньев и произнес с глупой улыбкой:

– Убитая Кравцова Виктория Павловна была руководителем пресс-службы парламентской фракции «Свобода выбора». А чьей она была любовницей, об этом лучше спросить у представителей спецслужб, наших и ваших.

– Красивая женщина, – вздохнул Стивен, – скажите, уже есть какие-нибудь предварительные версии? Это заказное убийство?

– Разбираемся, – сухо ответил Арсеньев.

– А кто конкретно разбирается? Лично вы войдете в группу, которая будет работать по убийству?

– Пока не знаю. Почему вы спрашиваете?

– Я три года в этой стране, – американец заговорил шепотом, так тихо, что Арсеньеву пришлось придвинуться к нему поближе, – если у вас убивают на заказ, то никогда не находят ни убийц, ни заказчиков. Это закон, такой постоянный, что вашим властям следовало бы внести его в конституцию. Поскольку Том Бриттен был моим другом, мне не безразлично, кто и как расследует убийство. Сейчас ведь начнется вранье, замалчивание фактов, ваши захотят представить Томаса шпионом, наши придумают какой-нибудь грязный ответный ход. И все забудут, что убит хороший человек, отец троих детей. Это я вам говорю не как официальное лицо, а лично от себя. Ваша физиономия внушает доверие. Вот моя визитка. Если вы примете участие в расследовании и вам понадобится помощь, я всегда к вашим услугам. – К концу монолога он был весь мокрый, даже глянцевая карточка, которую он протянул Сане, казалась влажной.

– Благодарю вас, мистер Ловуд. – Саня взял визитку, сочувственно улыбнулся.

– Да ну что вы, не стоит благодарности, – американец придвинулся совсем близко и произнес чуть слышно: – Главное, чтобы вы держали меня в курсе расследования, это очень для меня важно. Это не праздное любопытство, поверьте. Я потерял близкого друга, и если убийц не найдут, я буду чувствовать себя в долгу перед его памятью.

Арсеньев с детства терпеть не мог запах лакрицы. Вообще американец ему не нравился.

– Не все так плохо, мистер Ловуд. То есть, конечно, плохо. Вашего друга не вернешь, но убийц все-таки иногда находят, не только у вас в стране, но и у нас тоже.

Последовало крепкое прощальное рукопожатие, американец зашагал к лифту, Саня проводил его взглядом, украдкой вытер руку о штаны и вдруг, у самого уха, откуда-то из-за спины, услышал интимный шепот:

– Самое интересное, что об этом все знали и ждали скорой развязки.

– Не понял? – Саня нервно оглянулся и увидел красно-белого толстяка Нечаева.

– Все знали о роковом любовном треугольнике, – Феликс опять показал свои рекламные зубы. – Женщина – существо коварное и ненасытное, ей всегда мало, – он состроил комически серьезную гримасу и прижал ладонь к сердцу.

– Что вы этим хотите сказать? – хмуро спросил Арсеньев.

– Я хочу сказать все, что поможет вам в поисках преступника, – торжественно заявил Феликс, опять прижал ладонь к груди и скорчил рожу.

У него было странное лицо, мимические мышцы ни на секунду не расслаблялись, он все время гримасничал, двигал бровями, ртом, даже нос у него шевелился, не только вверх и вниз, но и из стороны в сторону. Арсеньеву показалось, что он когда-то уже встречал эту подвижную физиономию. Он слегка напрягся, но ничего существенного не вспомнил, разве что игрушки, которые продавались в его детстве на ВДНХ, мягкие морды из пенистой резины, с дырками для пальцев с изнанки.

– Значит, вы заместитель Виктории Кравцовой? – уточнил Саня, принужденно кашлянув.

– Совершенно верно. И я весь к вашим услугам. Вы, наверное, желаете узнать, имелись ли у Виктории враги? Я вам отвечу: да, имелись. Ее врагом номер один была она сама, – последовала очередная резиновая гримаса.

Рыжие брови опустились так низко, что почти прикрыли глаза, рот вытянулся в трубочку, пухлые щеки втянулись.

– Вика была женщиной-вамп, то есть она хотела быть вамп, но многое мешало. Например, провинциальное детство, бедненькое, скучное. Как верно подметил гениальный Зигмунд Фрейд, человеку трудно преодолеть свое внутриутробное и младенческое подсознание.

В коридор вышли наконец фээсбэшники, Арсеньев вздохнул с облегчением.

– Здравствуйте, господа офицеры! – Феликс вытянулся по стойке смирно, выпятил пузо и прижал руки к толстым бокам. – Нечаев, заместитель убитой, к вашим услугам. Меня, как я понимаю, пригласили для опознания, – он взял с подоконника букет, аккуратно расправил целлофан и понюхал розы.

– А, да, пройдите, пожалуйста, – слегка поморщился майор Птичкин, приглашая заместителя в анатомический зал.

Арсеньев последовал за ними. Феликс медленно, торжественно приблизился к цинковому столу со своим букетом. Несколько минут он смотрел в мертвое лицо Кравцовой. Саня видел, как раздвинулись его губы в странном болезненном оскале, раздулись ноздри, поползли вниз, а потом вверх рыжие брови.

– Вика, Вика! – произнес он громко, с какой-то вопросительной интонацией, словно окликал ее и надеялся, что она услышит.

Когда ему надо было расписаться на бланке, он выронил свои розы.

– Это вы ей цветочки принесли? – спросил ординатор, поднимая с пола букет.

– Ну не вам же! – хохотнул Феликс. – Вы банку найдите, поставьте в воду, только не забудьте обрубить стебли наискосок и срезы обжечь. А в воду обязательно аспиричку добавьте, пару таблеток. Найдется у вас аспирин?

Наконец он удалился, и все отправились курить в ординаторскую.

– Ну, как поговорили с дипломатом? – с усмешкой спросил майор Птичкин.

- Ничего поговорили, – пожал плечами Арсеньев.
- И что он тебе предлагал?
- Дружить семьями.

* * *

Съемка закончилась только в половине четвертого. Примерно час пришлось пить кофе с королевой и ее свитой. Королева потребовала вместо обычного сахара коричневый, низкокалорийный. Повариха поставила на стол еще одну сахарницу, и Рязанцев шепотом попросил ее принести телефон. Она кивнула и скрылась в кухне. Но тут Кругловой пришло в голову снять, как они пьют кофе.

– Не хватает более непринужденного, теплого разговора о вашей семье, – объяснила она, – и вообще все получилось как-то слишком формально, невкусно.

Не дожидаясь его согласия, свита взялась за работу. Гримерша причесала и напудрила сначала Круглову, потом Рязанцева. Операторы включили камеры.

– Как же вы познакомились с вашей женой?

– Мы учились на одном курсе, – начал он немного раздраженно, – послушайте, я ведь все рассказал.

– Евгений Николаевич, я понимаю, вы устали. Мы все устали. Но придется еще поработать, – произнесла она тоном терпеливой учительницы, которая объясняет простейшие вещи тупому ученику, – мы с самого начала условились, что без деталей не обойтись.

– Что же вы хотите услышать? – спросил он, рассеянно и безнадежно глядя на часы.

Ей хотелось услышать то, о чем ему было неприятно вспоминать. Он никому не рассказывал этого, но все знали, она, разумеется, тоже.

– Вы приехали из Саратова, поступили в Московский университет, на исторический факультет, – начала она задумчиво и тепло, словно собиралась погрузиться вместе с ним в милые сердцу воспоминания юности, – вы жили в общежитии, ночами подрабатывали, разгружали вагоны на товарной станции и, наверное, как все иногородние студенты мечтали жениться на москвичке...

– Или как все иногородние студентки выйти замуж за москвича, – продолжил он, глядя ей в глаза с вялой насмешкой.

У нее была очень похожая история. Она тоже никому не рассказывала, но все знали.

– Ну ладно, ладно, – она презрительно сморщилась, – я согласна, не стоит на этом акцентировать внимание. Давайте просто, о любви. Когда вы поняли, что влюблены в вашу жену?

– Почти сразу, как увидел ее, – привычно соврал Рязанцев и поискал глазами кого-нибудь из домашних, все равно, кухарку ли, начальника охраны. Но все, как нарочно, испарились.

– То есть это была любовь с первого взгляда, – подсказала Круглова. – Вы верите в такую любовь?

– Да, конечно. Как же мне не верить, если мы прожили вместе двадцать пять лет и не надоели друг другу?

– О, так в этом году вам предстоит праздновать серебряную свадьбу? – обрадовалась ведущая. – Ваша жена в честь такого знаменательного события должна прилететь из Италии.

– Лучше я сам к ней слетаю. Когда мы были молодыми и бедными, мы мечтали отпраздновать серебряную свадьбу в Венеции.

– Замечательная мечта. Очень красивая, – одобительно кивнула Круглова. – Вы верили, что она сбудется?

– Не знаю. Мы просто мечтали. Это было что-то вроде игры.

– Да, понятно. Так как же вы познакомились?

Он сразу переключился на автопилот. Слова полились сами собой. Он принялся рассказывать то, что повторял уже десятки раз. Во время зимней сессии он заболел, простудился, пришел на первый экзамен с температурой тридцать восемь, умудрился ответить и вышел из аудитории вялый, потный, ко всему безразличный настолько, что даже не заглянул в зачетку. В коридоре стояла стайка девочек, они болтали, курили, он прошел мимо, шатаясь и ни на кого не глядя. Одна из них его окликнула, спросила, сдал ли он экзамен и что получил. Он ответил: не знаю, поплелся дальше, к раздевалке. Девочка догнала его, взяла из рук зачетку, сообщила, что у него «отлично», и тут заметила, как ужасно он выглядит.

– Что было дальше, я почти не помню. Галя отвела меня в медпункт, там измерили температуру, дали аспирину, сказали, что надо ехать домой и ложиться в постель. Галя поймала такси, повезла меня к себе домой. Ее родители в это время отдыхали где-то, квартира была пустая, и ей стало жалко везти меня, такого больного и несчастного, в общагу.

– А до этого вы обращали внимание друг на друга?

– Ну, постольку поскольку... Я смотрел на нее на лекциях и не решался подойти. Она такая красивая, неприступная, в нее было влюблено много мальчиков на нашем курсе.

– Вы боялись конкуренции? – Круглова едва заметно усмехнулась.

– До сих пор боюсь, – признался он и стал врать дальше, уже совершенно машинально. История его брака, когда-то выдуманная наспех ради одного из первых интервью в жалкой желтой газетенке и теперь заученная наизусть до оскомины, лилась сама собой, не требуя его участия.

Опомнился он, лишь когда остался один на веранде, и жадно закурил. После первой затяжки ему показалось, что вместе с королевой и ее свитой из дома исчезли все. В саду возбужденно щебетали птицы, солнечные блики плясали на стенах, густо слоился дым. Он так устал, что на несколько минут забыл даже о Вике, и просто сидел, сторбившись, прикрыв глаза.

Из глубины дома застучали шаги, вошла кухарка и принялась убирать со стола.

– Геннадий Егорович пошел провожать их до ворот, сейчас вернется, – сообщила она и отправилась с подносом в кухню, но в коридоре столкнулась с кем-то. Послышался грохот посуды и ее сердитый голос: – Ну куда вы, честное слово! Вас ведь просили, вам объясняли по-хорошему!

– Пропустите меня сейчас же! Не смейте ко мне прикасаться! Женя, Женечка, как ты себя чувствуешь?

Через минуту на веранду вбежала Света Лисова, всклокоченная, мокрая, дрожащая.

– Я так долго ждала, когда они уедут, мне сказали, что при них нельзя и ты ничего еще не знаешь. – Она плюхнулась на подлокотник его кресла. Дерево жалобно затрещало.

Толстая верная Светка Лисова присутствовала в его жизни двадцать пять лет, столько же, сколько его жена Галина, но, в отличие от жены, не создавала проблем, наоборот, помогала их решать по мере своих жалких возможностей. Она всегда находила себе подходящее место рядом с его семьей. Когда-то она работала в университетской библиотеке, училась заочно, дружила с Галиной, часто ночевала у них дома, была свидетельницей на их свадьбе, безотказно сидела с детьми, постепенно стала чем-то вроде няньки, приживалки, родственницы.

Она была болтлива, причем не просто, а пафосно болтлива. Она говорила о высоком, об искусстве, о философии, о судьбах человечества и, что самое ужасное, – о политике. Он давно устал от нее, но чувствовал себя обязанным и все пытался пристроить ее куда-нибудь, дать заработать. Несмотря на свой университетский диплом, Света Лисова ничего не умела. Единственное, что у нее получалось легко и ловко, – это уборка. Стоило ей оказаться в любом, самом загаженном пространстве, и через час все вокруг сверкало чистотой. Он бы взял ее к себе в домработницы, но держать в качестве прислуги женщину, которая так много говорит, называет тебя на «ты» и по имени, в его нынешнем положении было неудобно, и он нашел временный выход. Попросил ее помочь по хозяйству Вике.

– Я так спешила, так неслась и, конечно, опоздала на последнюю электричку, а потом двухчасовой перерыв, пришлось взять такси, к счастью, были деньги, – бормотала Лисова, всхлипывая и сморкаясь.

– В чем дело? – спросил он тревожно.

– Ох, Женечка, подожди, я не могу, дай отдышаться... сейчас... Такой ужас, такой шок... не представляешь, что мне пришлось пережить...

Влетел Егорыч, тоже мокрый, красный. Телефон болтался у него на запястье и играл «Лав стори». Рязанцев уже понял: что-то произошло необычайное, трагическое. Сердце стремительно подпрыгнуло к горлу и медленно, гулко покатилося вниз. Вот сейчас Светкины смутные всхлипы оформятся, приобретут смысл, и в них ясно проступит скрежет жизненной оси. Судьба повернется, ветер переменится.

– Слава Богу, все произошло мгновенно, она совсем не мучалась, – услышал он сквозь оглушительный птичий щебет и с горьким облегчением признался себе, как давно ждал этого.

Дело в том, что жена его, Галина Дмитриевна, находилась вовсе не в Италии, она уже полгода лежала в маленькой, очень дорогой и закрытой психиатрической клинике, совсем недалеко отсюда, всего в пяти километрах от дома, в деревне Язвищи.

Об этом знали только самые близкие. Это никогда не обсуждалось, даже шепотом. В разговорах о жене поминали только Италию, Венецию, школу изящных искусств, и ни у кого такой словесный маскарад не вызывал улыбки. Диагноз был путаным и безнадежным. Мощные психотропные препараты подтачивали здоровье.

– Мужайся, Женя, – страшным шепотом произнесла Лисова, – сегодня утром...

– Замолчите вы, я сам! – закричал на нее Егорыч.

– Но я хотела только подготовить, нельзя же сразу, – забормотала Светка, – я знаю вас, вы все выпалите, не думая о последствиях, – она шагнула к Рязанцеву, который уже не сидел, а стоял, опираясь рукой на спинку кресла. – Женечка, послушай меня, только очень спокойно...

– Молчать! – рявкнул Егорыч и втиснулся между нею и Рязанцевым. – Еще слово, и уйдешь отсюда, поняла?

Светлана Анатольевна покорно кивнула, рухнула в кресло и уставилась на Рязанцева красными мокрыми глазами. Егорыч выключил телефон и заговорил спокойно, по-деловому, дыша ему в лицо чесноком:

– Значит, так. Вику убили. Застрелили сегодня ночью, прямо в постели. Насчет прессы я позаботился. Пока тишина, главное, чтобы никто из наших не проболтался. Сейчас надо ехать в морг на опознание. Переодеваться будете?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ночами вокруг Андрея Евгеньевича Григорьева сгушалась совершенно мертвая тишина. Он откладывал книгу, гасил свет и, зажмурившись, нырял в бессонницу. Она наполнялась мучительными призраками.

Его уникальная память была чем-то вроде закодированной энциклопедии, в которой хранились сотни имен, дат, фактов. Бессонными ночами это кошмарное сокровище оживало, шевелилось. Он видел лица, слышал голоса. Прошлое причудливо переплеталось с настоящим, живые логические нити соединяли несоединимое.

В отличие от многих бывших коллег, Андрей Евгеньевич не кокетничал даже с самим собой. Еще в юности он знал, чего хочет от жизни и сколько это может стоить. Он пошел служить в КГБ вовсе не из любви к социалистической родине и не ради веры в светлые идеалы коммунизма. В основе его выбора лежала глубокая брезгливость к системе, к тому, что имевалось советским образом жизни. Служба в органах давала возможность вполне легально обеспечить себе совсем другой, совсем не советский образ жизни.

На самом деле не было больших антисоветчиков, чем сотрудники КГБ. На их фоне любой махровый диссидент – наивное дитя. Диссиденты рисковали головой, чтобы изменить систему. Сотрудники органов просто брали и меняли ее – лично для себя и для своих семей, причем без всякого риска, вполне легально. Они ели, одевались, работали и отдыхали не так, как все прочее советское население, а иначе, гораздо лучше. Конечно, такое счастье давалось не даром, не только за чистые руки, горячее сердце и холодную голову.

Внутри системы жилось трудно. Все на всех стучали, и следовало всегда, днем и ночью, оставаться начеку. Предательство являлось общепринятой нормой и называлось бдительностью. Любой офицер мог ради карьерного роста, для подстраховки, просто из зависти, подставить своего ближайшего коллегу, стукнуть начальству обо всем, от стакана виски, выпитого после рабочего дня, до любовной интрижки вне семьи.

Григорьев почти не пил, свою первую жену любил и за восемь лет совместной жизни ни разу ей не изменил.

Он женился сравнительно поздно, выбирал, оценивал, боялся ошибиться. Одна была красивой, но глупой. Другая наоборот. Третья так сильно хотела замуж, что это отпугивало. Четвертая казалась слишком независимой и энергичной для тихого семейного счастья. Пятую звали Катя. Рядом с ней все прочие вдруг стали бесформенными, бесполоыми и просто никакими.

Тоненькая, белокурая, с прозрачной кожей и ясными голубыми глазами, она была такой нежной и трогательной, что сразу возникало желание ее защитить. Она действительно нуждалась в защите. Еще в детстве, когда ее спрашивали, кем она хочет стать, она отвечала: «Катенька не будет работать ни под каким видом. Катенька будет просто красивая».

Он влюбился так страстно, что готов был на ней жениться, даже если бы кто-нибудь из ее близких родственников вдруг оказался диссидентом, уголовником или евреем. Но повезло. Анкетные данные феи были безупречны, как и все в ней.

Ясным майским вечером 1971 года, на лавочке на Тверском бульваре, после просмотра в кинотеатре «Повторного фильма» французской комедии «Разиня», фея в ответ на серьезное предложение Григорьева сказала свое нежное «да».

Андрей Евгеньевич был контрразведчиком. Он знал английский как родной, свободно говорил по-испански и на всякий случай выучил венгерский. Его давно собирались послать за границу, сначала в соцстрану, на Кубу или в Венгрию. Единственным препятствием оставалось то, что он холостяк.

Через полгода капитан Григорьев вместе с молодой женой отправился в свою первую заграничную командировку в Венгрию. Еще через полгода, в Будапеште, у них родилась дочь Маша. Венгрия была самой «несоциалистической» из всех стран Варшавского договора. Пока Григорьев аккуратно и добросовестно вербовал агентуру в журналистской среде, писал подробные отчеты для начальства, Катя с красивой колясочкой ходила по магазинам, почти настоящим, почти западным. После московского гастрономического и промтоварного убожества будапештское изобилие пьянило ее, она постоянно пребывала в радостном возбуждении, пела по утрам в душе, вечерами, встречая мужа после работы, с детским визгом бросалась к нему на шею, рассказывала, где сегодня была и что купила.

Полтора года в Венгрии пролетели как один день. Семейство Григорьевых вернулось в Москву с чемоданами импортного добра и надеждами на следующую командировку, уже в настоящую за границу, в Испанию, а может даже в США.

Маша росла здоровым, жизнерадостным, но немного странным ребенком. Она унаследовала внешность мамы и характер отца. С ней не было проблем. Даже в младенчестве она почти не плакала, зато много улыбалась, гримасничала, и Григорьев мог бесконечно наблюдать за ее подвижным личиком. Казалось, там внутри у нее происходит постоянная напряженная мыслительная работа. Было странно и жутковато представить, как может такая кроха вмещать в себя огромный мир.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.